

А. Садыр

2
(25)



КАЛТАЙ

Электронная библиотека АКУНЬ, eLIB.altlib.ru

1963

Электронная библиотека АГУНБ, elib.altlib.ru

A 521 кр.	571070
Алтай, 1963.	
№ 2 (25)	
10	

57

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

АЛЬМАНАХ

АЛТАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

РСФСР



2(25)

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
БАРНАУЛ 1963

050145

СОДЕРЖАНИЕ

И. КАЗАНЦЕВ. Писатели Алтая служат народу	3
Н. ДВОРЦОВ. Дороги в горах. Новая книга романа	11
Владимир СЕРГЕЕВ. Стихи о любви	88
Виктор ПОПОВ. Тост. Рассказ	94
Павел МАШТАКОВ. Мавзолей сердца. Дыхание века. Сказка о калине. Вечерняя школа. Стихи	100

ЧИТАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ

Т. БЛАЖНОВА. Первые цветы	100
-------------------------------------	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Неизвестное письмо В. И. Анучина	104
А. С. Новиков-Прибой в Барнауле	105

НА СПОРТИВНЫЕ ТЕМЫ

Ю. Майоров. Внимание, старт!	107
--	-----

САТИРА И ЮМОР

Б. СКОВОРОДНИКОВ. Научный улей. Цветок и молния. Басни	110
--	-----

В ЧАСЫ ДОСУГА

Кроссворд «Три буквы».	112
--------------------------------	-----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Л. Квин (редактор), Н. Дворцов, А. Баздырев,
А. Бутаков, И. Казанцев, Б. Кауров, М. Юдалевич.

Обложка художника З. Горфинкеля
Технический редактор М. Штремлева. Корректоры А. Голубицких, Л. Конева

Сдано в набор 9. V. 1963 г. Подписано к печати 20. VII. 1963 г.

Формат 70×92¹/₁₆—7—8,19 усл. п. л. (7,97 уч.-изд. л.).

АГ 01014. Заказ 1222. Тираж 4000 экз. Цена 40 коп.

Алтайское книжное издательство, Барнаул, пр. Ленина, 76.
Типография № 1 Полиграфиздата, Барнаул, Льва Толстого, 29.

И. Казанцев

ПИСАТЕЛИ АЛТАЯ СЛУЖАТ НАРОДУ

За годы советской власти наша литература достигла больших успехов. В ней утвердился метод социалистического реализма, который обеспечивает ее дальнейший подъем. На весь мир прозвучали голоса мастеров советской литературы — Максима Горького, В. Маяковского, М. Шолохова, А. Фадсева, Н. Островского и многих других писателей. Растут и крепнут литературные силы в союзных и автономных республиках, краях и областях. Героем советской литературы стал новый человек, человек эпохи социализма, борец за торжество коммунистических идеалов.

Успехи эти достигнуты благодаря тому, что Коммунистическая партия проявляет постоянную заботу о развитии литературы и искусства нашей Родины.

В. И. Ленин выдвинул принципы партийности и народности социалистического искусства. Провозгласив лозунг партийности литературы, он назвал ее частью общепролетарского дела и определил задачи и роль искусства социалистического общества. «Искусство принадлежит народу,— сказал он,— оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс... Оно должно объединять чувство, мысль, волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».

На состоявшейся в этом году встрече руководителей партии и правительства с писателями и работниками искусств произнес глубокую, яркую речь Н. С. Хрущев. В этой речи изложены основные задачи литературы и искусства на современном этапе коммунистического строительства. Партия еще раз подчеркнула важнейшие принципы художественного творчества — партийность и народность, напомнила нашим литераторам о их высокой миссии и огромной ответственности перед народом.

«Наша партия,— подчеркнул Н. С. Хрущев,— всегда стояла за партийность в литературе и искусстве. Она приветствует всех — и старых, и молодых деятелей литературы и искусства, партийных и непартийных, но твердо стоящих на позициях коммунистической идейности

в вопросах художественного творчества. Они — опора партии, ее верные солдаты».

Выступая на июньском Пленуме ЦК КПСС с речью «Марксизм-ленинизм — наше знамя, наше боевое оружие», Н. С. Хрущев призвал советских писателей писать правдиво, с жизнеутверждающих позиций. «...мы не требуем, — сказал он, — чтобы писатели, деятели искусства, кино приукрашивали, неправдоподобно изображали события жизни. Нет. Мы говорим им — показывайте действительность такой, как она есть, но покажите ее с позиций жизнеутверждающих».

Советские писатели считают себя помощниками партии в борьбе за построение коммунистического общества и рассматривают свое творчество как составную часть общенародной борьбы за коммунизм. Цели и задачи Коммунистической партии, выражающей жизненные интересы народов нашей страны, являются также целями и задачами советских писателей, у которых нет и не может быть иных стремлений, кроме самоотверженного служения своей Родине, своему народу, строящему коммунистическое общество.

О благотворном влиянии политики Коммунистической партии на развитие советской литературы и искусства свидетельствуют также успехи литературного движения на Алтае. Здесь в 1948 году было создано краевое книжное издательство, вокруг которого начали объединяться литературные силы. Впоследствии книжное издательство стало одним из крупных издательств Российской Федерации, а алтайские писатели составили боевой отряд литераторов нашей республики. Если в первый год работы издательства были выпущены лишь небольшие сборники стихов — И. Фролова «Моя Кулунда» и М. Юдалевича «Друзьям», то теперь ежегодно издаются массовыми тиражами крупные произведения алтайских писателей, получающие признание все более широкого круга читателей. В крае и за его пределами с интересом читаются книги Н. Дворцова, А. Демченко, М. Юдалевича, Л. Квина, А. Баздырева, Н. Чебаевского, Б. Каурова, Н. Павлова и других.

Отряд алтайских писателей постоянно пополняется молодыми прозаиками, поэтами. Из них выступили с первыми книгами И. Шумилов, М. Кашников, И. Кудинов, П. Старцев, Н. Лоткин, И. Игнатьев, П. Маштаков, В. Попов, Л. Ваганов, А. Садыков, М. Шутов и другие.

Алтайские писатели прошли большую жизненную школу. В годы Великой Отечественной войны многие из них с оружием в руках сражались против немецко-фашистских захватчиков. В послевоенный период они принимают активное участие в мирном созидательном труде народа: одни работают в редакциях газет, радио и телевидения, другие — на крупных промышленных предприятиях. Писатели часто встречаются с читателями, обсуждают с ними свои произведения, прислушиваются к их замечаниям, идущим из самой гущи жизни.

Связь с жизнью народа, проникновение в нее дали нашим писателям возможность создать такие произведения, которые вызвали живой интерес читателей. Так, о романе Н. Дворцова «Дороги в горах» группа молодых людей писала: «Эта книга нам очень понравилась. Автор

правдиво написал о том, как выбрали жизненные пути выпускники средней школы. Читая эту книгу, мы как бы жили с героями одной жизнью».

В своих произведениях алтайские литераторы отражают те достижения, которые завоеваны нашим народом под руководством Коммунистической партии, помогают воспитывать советских людей в духе коммунизма, зовут их на новые трудовые подвиги во имя осуществления величественной программы построения коммунистического общества.

Значительное место в творчестве алтайских писателей занимает колхозная тематика. Могучее народное движение за подъем сельскохозяйственного производства нашло отражение в таких произведениях, как «Перелом», «Утро моей жизни» И. Кожевникова, «Свежий ветер» Н. Чебаевского, «Палатки в степи» Л. Квина, «На стремнине», «Повесть о настоящей любви» А. Демченко, «Первые радости» И. Масаулова, «Илька приехал в Крутояр» А. Баздырева, «Проселки выходят на большак» Б. Каурова. В этих книгах авторы нарисовали образы передовых сельских тружеников, борцов за дело партии.

Н. Чебаевский в повести «Свежий ветер» рассказал о делах боевой пытливей сельской молодежи, осваивающей специальности механизаторов сельского хозяйства.

В повести А. Баздырева «Илька приехал в Крутояр» через восприятие главного героя рассказывается о больших преобразованиях в алтайской деревне, о помощи города селу, куда направлены лучшие представители рабочего класса.

Повесть Б. Каурова «Проселки выходят на большак» примечательна тем, что автор положил в ее основу документальный материал и художественными средствами показал борьбу за хлеб мастеров земледелия Героев Социалистического Труда А. А. Беккера, Н. Н. Буханько и тружеников колхоза «Страна Советов». Однако хочется пожелать Б. Каурову в документальных произведениях более ярко, убедительно раскрывать жизнь алтайской деревни.

В романе «На стремнине», изображая жизнь колхоза «Горный большевик», А. Демченко создал образы председателя колхоза Голубя и секретаря партийной организации Жигулева, которые выступают против формализма, шаблонности, за конкретный подход к решению задач колхозного производства. Писатель показал в романе могучую силу коллективного труда колхозников, единство Коммунистической партии и советского народа. Он нарисовал яркую картину народного ликования, с которым было встречено постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

В прошлом году А. Демченко выпустил новый роман — «Повесть о настоящей любви», в котором показывается борьба совхозного коллектива за прогрессивные методы труда, за внедрение в производство достижений науки и передового опыта. В образах инженера Константина Дмитриева и агронома Марины Иноземцевой писатель утверждает красоту нашей жизни, идеалы человека-борца.

Отмечая положительные стороны произведений А. Демченко, нужно сказать, что в них имеются и существенные недостатки. На мой взгляд,

писатель не всегда дает содержательный диалог, допускает иногда композиционные и сюжетные просчеты, стилистическую небрежность.

Борьба колхозного крестьянства за подъем сельского хозяйства, подвиг народа в освоении целинных земель нашли отражение во многих стихах алтайских поэтов И. Фролова, М. Юдалевича, Б. Каурова, К. Козлова и других.

В стихотворении «Осень 1956 года» М. Юдалевич пишет об уборке урожая в осеннюю непогоду и заканчивает его следующими словами:

Не была ты, осень, красивой.
Ты ворчала, ты грязь месила,
Только мы тебя победили,
Подчинилась ты нашей силе!

Стойкость, мужество советского человека в освоении целины прославляет Б. Кауров в стихотворении «Костры»:

Припомни, мой друг, оглянись,
Как было с тобою нам трудно
В пустыне закладывать жизнь...
Об этом расскажет без слова
Литое, как пули, зерно,
Что добыто в битве суровой
И Родиче нашей сдано.

Несмотря на некоторые успехи алтайских писателей, посвятивших свои произведения сельским труженикам, следует признать, что в полной мере еще не показаны те огромные перемены в жизни колхозной деревни, которые произошли за последние годы, не созданы яркие, захватывающие образы наших современников.

Алтайские писатели создали ряд произведений о героическом рабочем классе. К ним относятся роман Н. Павлова «Конструкторы», повесть М. Кашникова «Ветер», некоторые рассказы А. Демченко, стихи М. Юдалевича, Б. Каурова, К. Козлова, молодых поэтов И. Игнатьева, П. Маштакова, М. Шутова и других. Однако приходится признать, что еще ни один алтайский писатель не создал такого художественного произведения, в котором был бы по-настоящему запечатлен образ советского рабочего. Это — трудная, но благородная задача, стоящая перед нашими писателями.

В книгах алтайских писателей поднимаются важные проблемы воспитания молодежи.

В романе Н. Дворцова «Дороги в горах» дается ответ на волнующий молодых людей вопрос: как жить после окончания школы, как найти свое место в общем строю? На примере своей героини Клары Арбаевой писатель убеждает молодых людей: нужно, прежде всего, любить труд, нужно упорно работать, ибо только труд дает все жизненные блага и приносит радость. В труде и только в труде на благо Родины заключается смысл жизни нашей молодежи.

Первая книга романа была горячо встречена нашей молодежью, и автор, и издательство получили много положительных отзывов, в кото-

рых часто задавался один и тот же вопрос: когда выйдет вторая книга? Сейчас Н. Дворцов представил нашему издательству рукопись второй книги романа. Она публикуется в этом номере альманаха.

Большой популярностью среди молодежи пользуется повесть А. Баздырева «Конец Нахаловки». Автор со всей страстью обрушивается на старый, отживающий мир, представителями которого выступают в повести Аграфена, Севачок, и утверждает новую, коммунистическую мораль — ее выразителем являются молодые рабочие Вера, Иван.

М. Юдалевич выпустил интересную повесть «Газетчики». Автор создал образ молодого журналиста Леонида Данилина, смело и стойко вступившего в борьбу с карьеристами, эгоистами, которые мешают народу строить светлое здание коммунизма. Такой литературный герой вызывает у молодежи желание подражать его поступкам, и в этом немалый успех писателя.

В сборнике рассказов Л. Квина «Друзья идут в ногу» изображается молодежь, которая приходит на завод со школьной скамьи, занимает место в рядах героического рабочего класса нашей страны. Рассказы писателя учат нашу молодежь жить и работать по-коммунистически.

Нашей славной молодежи, осваивающей необжитые просторы сибирской земли, возводящей на ней заводы, фабрики, электростанции, посвящено немало стихов. В стихотворении «Уходящим на Восток» Б. Кауров говорит:

Это парни, пропахшие дымом,
Жгут под пасмурным небом костры,
В створе будущей ГЭС у Илима,
На крутых берегах Ангары.

Создание положительных образов молодых советских людей — большая заслуга алтайских писателей. Но здесь им предстоит преодолеть немалые трудности и недостатки, которые выражаются в некоторой пассивности положительных героев, в недостаточно глубоком раскрытии их борьбы с носителями пережитков старого мира.

В произведениях алтайских писателей нашла отражение борьба советского народа против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Наиболее значительным произведением, посвященным этой теме, является роман Н. Дворцова «Море бьется о скалы», получивший признание массового читателя.

В романе «Море бьется о скалы» писатель глубоко раскрыл характер советского человека, воспитанного Коммунистической партией, показал его героизм, верность Родине, мужество и стойкость в борьбе с фашизмом. Роман проникнут глубокой верой в силы нашего народа, способного разгромить любого агрессора, если он посягнет на нашу великую Родину.

В нашем крае живут и работают не только русские писатели, но и алтайские, из которых семь являются членами Союза писателей. Между русскими и алтайскими литераторами установились сотрудничество и взаимная помощь. Это способствует успешному развитию молодой алтайской литературы, талантливыми представителями которой являются

Павел Кучияк, Чалчик Чунижеков, Александра Саруева, Лазарь Кокышев, Аржан Адаров, Сазон Суразаков, Иван Кочеев и другие.

Русские писатели в своих произведениях выражают искреннее восхищение трудолюбием, мужеством алтайского народа. Об этом ярко говорится в стихотворении молодого русского поэта Г. Кондакова «Высокая земля»:

Я степи твои, Кош-Агач, обнимаю,
Я слышу твой голос в ночах ветровых.
Тебя высоко, Кош-Агач, поднимает
Крылатая слава о людях твоих.

Алтайские писатели создали ряд новых значительных произведений, которые наше издательство выпустит в этом году. К ним относятся: повесть М. Юдалевича «Дни испытаний», романы Л. Квина «Город не спит», Г. Егорова «Солона ты, земля», И. Шумилова «Жажда», В. Чиликина «В паучьих лапах», «Исторические рассказы о Барнауле» П. Бородкина и другие.

Повесть «Дни испытаний» М. Юдалевич посвятил работникам советской торговли. В ней он нарисовал привлекательный образ молодой продавщицы, честной, принципиальной, отстаивающей свою правоту в борьбе с корыстными людишками, которые растаскивают народное добро.

В романе Л. Квина «Город не спит» широко показана мужественная борьба передовой молодежи Латвии против фашистского режима Ульманиса за Советскую власть накануне второй мировой войны. В этой борьбе активное участие принимал и сам писатель, который родился и жил в Латвии до 1941 года.

«Солона ты, земля» — первое произведение молодого писателя Г. Егорова. Он ярко рисует картины партизанской борьбы против колчаковщины на Алтае, воссоздает живые образы вожаков партизан: сельского учителя Аркадия Данилова, легендарного командира полка «Красных орлов» Федора Колядо.

В «Исторических рассказах о Барнауле» П. Бородкина изображаются картины жизни нашего города со времени его основания до установления Советской власти на Алтае. Автор показывает тяжелые условия жизни простых русских людей в дореволюционный период, их мужественную борьбу против царизма, за победу Великой Октябрьской социалистической революции.

Роман И. Шумилова «Жажда» посвящен жизни тружеников целинного совхоза, на судьбу которых оказал огромное влияние исторический XX съезд партии.

В. Чиликин в романе «В паучьих лапах» разоблачает черные дела сектантов, утверждает победу разума и добра над религиозным фанатизмом.

Успехи писателей Алтая тесно связаны с новыми достижениями советской литературы, обусловленными восстановлением ленинских норм в партийной и народной жизни, историческими решениями XX и XXII съездов партии, небывалым подъемом трудовой и политической актив-

ности народа, широким размахом творческой инициативы миллионных масс. Подъем нашей литературы — это прямой результат исторической деятельности партии, ее ленинского Центрального Комитета под руководством Н. С. Хрущева.

Огромную роль в дальнейшем развитии советской литературы играют недавние встречи руководителей партии и правительства с писателями и деятелями искусства. Разговор на этих встречах был прямым и откровенным, взыскательным и задушевым, он касался и успехов и недостатков нашей литературы и стал для писателей подлинной школой коммунистической партийности.

Содержательную, глубоко аргументированную речь на этой встрече произнес Н. С. Хрущев. Он отметил успехи советской литературы, а также подверг острой и справедливой критике ошибки и недостатки отдельных литераторов, которые пытались протащить в литературу чуждые марксизму-ленинизму взгляды о мирном сосуществовании идеологий капитализма и коммунизма, которые допускают нестойкость, идейные шатания.

Критика этих ошибок и недостатков с одобрением встречена писательской общественностью, которая с негодованием и болью говорит о литераторах, отступивших от ленинских принципов партийности и народности искусства, уронивших достоинство советского писателя. «Больно и стыдно было узнать, — сказал Л. Соболев, открывая VIII пленум правления Союза писателей РСФСР, — что есть среди нас и те... кто служение народу заменил угодничеством перед духовным мещанством — отечественным или зарубежным, кто на переднем крае вместо пулеметного гнезда установил ресторанный столик для кокетливой беседы за стаканом коктейля».

На IV пленуме правления Союза писателей СССР сурово критиковался Е. Евтушенко, написавший автобиографию для реакционного парижского еженедельника «Экспресс» и допустивший в ней грубейшие ошибки. Позорный поступок Е. Евтушенко осужден и группой писателей (Г. Оганов, Б. Панкиц, В. Чикин) в статье «Куда ведет хлестаковщина», опубликованной в газете «Комсомольская правда» (30 марта 1963 года). «Пора ему, наконец, посмотреть правде в глаза, — пишут авторы статьи, — и увидеть, как выглядит в действительности все его поведение. Ведь это — вихляние легкомысленной рыбки, уже клонившей на червячка западной пропаганды, но еще не почувствовавшей острия и воображающей, что она изумляет обитателей океана грациозной смелостью своих телодвижений». И далее они предупреждают поэта: «Он должен понять — нельзя без конца падать, а потом подыматься, отряхиваться и делать вид, будто ничего не произошло. Можно в конце концов набить себе такой синяк, что он останется навсегда несмываемым родимым пятном».

На пленуме правления Союза писателей СССР были подвергнуты острой критике также А. Вознесенский, В. Аксенов. В статье «Ответственность», опубликованной в газете «Правда» (3 апреля 1963 года), В. Аксенов признает: «На пленуме прозвучала суровая критика не-

правильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной. Я считаю, что критика эта была правильной». И далее он пишет: «Но еще легкомысленнее было бы думать, что сейчас можно ограничиться одним признанием своих ошибок. Это было бы и не по-коммунистически и не по-писательски. Я никогда не забуду обращенных ко мне во время кремлевской встречи суровых, но вместе с тем и добрых слов Никиты Сергеевича и его совета: «Работайте! Покажите своим трудом, чего вы стоите!»

От имени всех советских литераторов IV пленум правления Союза писателей подтвердил верность нашей литературы принципам партийности и народности. Участники пленума направили ЦК КПСС письмо, которое заканчивается следующими словами: «Призыв Никиты Сергеевича Хрущева, обращенный к деятелям литературы и искусства — еще теснее сплотиться вокруг ленинского Центрального Комитета партии, — глубоко взволновал нас и вызвал горячий отклик в сердце. В этих словах призыва партии мы почувствовали веление жизни, требование народа, голос самой истории. Писатели Советской страны обещают Центральному Комитету партии ответить на этот призыв делом — горячей, вдохновенной творческой работой, направленной на создание литературы, достойной нашего великого времени, нашего героического народа».

В этом письме прозвучал голос и писателей Алтая, которые являются боевым отрядом единой, могучей советской литературы. И мы надеемся, что алтайские литераторы порадуют читателей новыми значительными произведениями.

Н. Дворцов

ДОРОГИ

I

Роман*

Марфа Сидоровна осторожно приоткрыла дверь в горницу. Опередив ее, в комнату котенком проскользнул свет. Клава, почувствовав его сквозь сон на своем лице, отвернулась к стене, невнятно что-то бормотнула.

Марфа Сидоровна не сразу решилась разбудить дочь. Пусть поспит лишние пять-десять минут. Ведь измучилась, извелась вся. Зима выдалась настолько суматошливая, что Марфе Сидоровне даже не помнится, были ли на ее памяти еще такие. Вот апрель, а избу выдуло, как в январе. Снегу кругом — ни проехать, ни пройти. Как вывалил с начала октября, так и лежит седьмой месяц. По всему району бескормица, падеж. В «Кызыл Черю» куда больше, чем прежде, запасли сена. Силосу заложили, солому убрали до последней былинки. Думали обойтись. Да где там! Разве обойдешься, если подножный засыпало.

Первыми сдались овцы. Они так, все будто ничего, держатся, а потом враз свалятся. А тут окот. Клава, бедняжка, места себе не находила. Всю избу ягнятами заполонила. Добилась того, чтобы и другие брали...

Вечером Клава ушла на заседание правления, а у нее, Марфы Сидоровны, разылась поясница и ноги. Превозмогая боль, она растопила плиту, приготовила ужин и, дожидаясь дочери, прилегла. Угрелась под толстым стеганым одеялом, боль успокоилась, и она заснула. Будто чутко всегда спит, а этот раз не слыхала, как пришла дочь, как ужинала. Что они там решили?

Марфа Сидоровна касается прикрытого одеялом плеча дочери.

— Клава... Дочка...

— А?.. Поздно?

— Восьмой. Половина...

— Проспала! — Клава сбросила с себя одеяло, поправила рассыпавшиеся по плечам волосы. — Что же раньше не разбудила? Коней на ту сторону перегонять...

* Новая книга. Печатается с сокращениями.

В

Г

О

р

а

Х

- В такое время?
- А что делать? Там корм. И нетелей тоже отправим.
- Корм-то есть, да добраться до него как?
- Вот поедем искать...
- Расщепленную листовницу знаешь? У Белого камня? Мы там в войну переправляли... Чуть ниже, шагов на пятьдесят. Да там увидишь... А может, лучше где место найдется?
- Посмотрим...
- На рожон-то не лезь, поопасливей будь. С рекой сейчас не шутят. Можно было бы — сама съездила бы...
- Как же! По избе еле ходишь...

Клава намотала на ноги толстые шерстяные портянки, натянула кирзовые сапоги. Встала, притопнула, сняла со стены полушубок с вздетым поверх дождевиком.

— Да ты что, иль без завтрака?

— Не хочется...

— Ведь на целый день... Поешь!

— Некогда, мама. И так проспала.

— Да как это некогда! — рассердилась Марфа Сидоровна, но Клава в ответ озорно блеснула глазами из-под толстого, низко спущенного на лоб шерстяного платка и юркнула в сени. Уже оттуда, прикрывая дверь, сказала: — Ягнят не забудь накормить.

«Ускакала... — Марфа Сидоровна из чайника на плите наливает стакан горячего чая и садится за стол. — Теперь до вечера голодом... Нисколько себя не жалеют. Думают, износа не будет...»

Старуха отхлебывает мелкими глотками душистый чай, греет о стакан ладони и думает. Думы привычные, они бегут, как ручеек по пробитому руслу. Одни заботы сменяются другими. Вот дочка и зоотехником стала. Нелегко ей досталось... День на ферме — ночью за книжками. Теперь о другом мысли — двадцать четвертый Клавдюшке доходит. Пора и замуж. Марфа Сидоровна понимает, что значит лишиться дочери. Засохнет тогда она одна да еще при таком здоровье... Но все равно, мать не враг своему дитю. Лишь бы ей пожилось. Уж больно молодежь нынче непутевая. Колька-то Белендин хороший паренек — работающий, уважительный, так она нос воротит. Похоже к этому Игорю, к Гвоздину, сердцем присохла. А счастья с ним ей, кажись, не видать. Старуха не обманется. Высокомерен. Ух и высокомерен! В матушку, видать. Та идет, так земли под собой не чует.

* * *

Река бесновалась. Вода, летом такая тихая и ласковая, теперь была серо-свинцовой и казалась в несколько раз тяжелее. Упругими, сплетающимися струями она стремительно выкатывалась на гальку, билась в прибрежные кручи, в корни подмытых деревьев, но особенно доставалось разбросанным по руслу округлым валунам. Некоторые из них, более мелкие, река захлестнула, и камни напоминали о себе лишь вздувши-

мися седыми бурунами. Огромные же увальни река не смогла утопить и яростно злобилась: бурлила, кипела вокруг камней, бросала наверх белые шипящие брызги, а те, замерзая, превращались в толстые голубоватые ледяные шапки.

Клава и Пиянтин спешили, привязали коней к березе и спустились к реке. При взгляде на воду у Клавы по спине под теплым полушубком побежали мурашки, а Пиянтин цокнул языком, покачал головой:

— Худо...

Они пошли по течению. За белесым, вросшим в землю камнем стояла на косогоре лиственница. Неизвестно когда, возможно, задолго до рождения Клавы, бурной ночью молния вонзила свою огненную стрелу в вершину лиственницы. Дерево вздрогнуло, вскинуло корявые сучья-руки — и так стоит с тех пор, точно помощи просит...

Река, уклоняясь вправо, пошла шире, спокойнее, но метров через двести крутые берега снова стиснули ее, и она с рычаньем и ревом взлетала на камни, падала и снова взлетала.

— Вот тут в войну перегоняли...

Пиянтин, ничего не сказав, смотрел на пороги. Клава понимала его — кони исхудалые, если не справятся с течением, их понесет вниз. А там — все!.. Поминай, как звали.

Пиянтин спрыгнул под берег и, прячась от ветра, присел там, достал из кармана трубку, кисет.

— Малость курить надо, малость думать...

— Некогда думать. Место не нравится? Давай поищем другое.

— Лучше нет... Моя река знай.

— Так чего же тянуть, если нет лучше? Надо успеть... Вода скоро прибудет. Поезжай к табунщикам. Гоните.

Пиянтин прикуривал. Испортив несколько спичек, он согнулся в дугу, сунул трубку в лодочку ладоней, где робко затрепетал огонек новой спички. Усиленно чмокая, пососал мундштук, жадно проглотил дым и сказал:

— Ты, Васильна, депка молодой. Год мало — спрос мало... А моя шипко спросят. Моя турма не хочет.

— Да ты что? — удивилась Клава. — Ты же был вчера на правлении.

— Правление репал, а река не видал. Такой река вся конь пожрет.

— Трус ты, оказывается. Не знала... Выходит, пусть кони подышают? Лишь бы самому без неприятностей.

Возмущенная Клава поспешно зашагала вверх к березе, где стояли привязанные кони. Пиянтин, поняв, что зоотехник сама поедет к табунщикам, проворно выскочил из своего укрытия, закосолопил следом.

— Клавдь Васильна! Зачем так?.. Ух, огонь! Клавдь Васильна, надо Ковалева. Пусть Генадь Василич...

— А что Ковалев? Коням силы добавит? Да и нет его, в райкоме...

Кони, исхудалые, с взъерошенной шерстью, к реке спускались неохотно, а у воды встали как вкопанные. Табунщики носились вокруг, гикали, кричали:

— Гей! Но! Но!

Клава, заехав в гущу табуна, размахивала из седла хворостиной, тоже гикала и кричала. А кони либо топтались на месте, либо, вскидывая большие костлявые головы, увертывались, отбегая в сторону.

— Не пойдет. Она не дурной... — бубнил в спину Клавы Пиянтин.

— Да перестань! Лучше помоги. Заезжай с той стороны! Давай вон того карего!..

Вислобрюхая вороная кобылица, зажатая с двух сторон всадниками, удивленно покосилась на Клаву грустными фиолетовыми глазами и настороженно, ступая по несколько сантиметров, подошла к воде. Понюхала воду и фыркнула, вздрогнув всем телом.

— Иди, дорогая, иди! На той стороне лучше.

Чалый жеребец, вожак табуна, будто устыдясь Клавиных слов, решительно двинулся в реку. Воронуха, немного подумав, тоже пошла. Клава, Пиянтин, табунщики — все замолкли, как по команде, все напряженно следили за Чалым. Серая свинцовая вода билась ему в грудь, в бока, темня взъерошенную шерсть. Конь вдруг ухнул — вода торжественно захлестнула круп, холку, вытянула по течению пряди косматой гривы. «Все!» Клава зажмурилась, а когда открыла глаза — Чалый, громко отфыркиваясь, плыл к противоположному берегу. За ним тянулась Воронуха.

— Гей! Но! Но! — закричали враз табунщики. И кони покорно заходили в реку. А Чалый уже выбрался на противоположный берег, по собачьей встряхнулся, повернувшись к реке, призывно заржал.

У Клавы отлегло от сердца, унялась внутренняя дрожь. Уверенная, что все пройдет благополучно, она отвернула своего коня от реки, въехала на пригорок. Ей захотелось подковырнуть Пиянтина. Ишь, испугался! Да если так бояться...

— Ой, вай!..

Клава мгновенно оглянулась. На самой середине реки крутился конь. Обессилев, он повернул обратно, а стремнинное течение подхватило его и понесло. Конь старался вырваться из цепкого потока, прибиться к берегу, а сил уже не хватало.

Он то выныривал почти по самую холку, то погружался так, что видны были только наостренные уши.

— Вода уши зальет — все, на дно пойдет, — с философским спокойствием предсказывал Пиянтин.

— Да что же вы?.. Вот черти! — Клава скатилась с коня, бросилась к реке. Вот он, конь. До него каких-то двенадцать-пятнадцать метров. Его выдавшиеся из орбит глаза полны смертельного ужаса и просьбы о помощи. Но как, как помочь? Клава мечется по берегу, заскакивает в воду. Сапоги ее давно полны воды, намокли полы полушубка, унесло слетевшую с руки рукавицу. Но Клава ничего не замечает. Она видит лишь коня. Он бьется из последних сил, и с минуты на минуту река завладеет им.

Клава кричит, сама не зная что, около нее бестолково суматошатся спешившиеся табунщики. Никто из них не замечает остановившуюся напротив, на дороге, автомашину.

Колька Белендин выскакивает из кабины. Он бежит к реке, насаживая глубже на голову военную фуражку с черным околышем. Мгновенно оценив обстановку, Колька, не останавливаясь, подсакивает к заседланному коню одного из табунщиков, срывает с луки аркан.

— Ну-ка, в сторонку.

Колька, выставив вперед левую ногу, секунду примеривается и бросает. Черный волосяной аркан, вытягиваясь змеей над рекой, устремляется к коню. Петля падает ему на лоб и под досадное криканье стоящих на берегу людей соскальзывает в воду.

— Э, петля узка.

— Сейчас я, сейчас...—Колька поспешно сматывает кольцами аркан и вновь забрасывает. На этот раз петля ловко захлестывает голову коня, и все хватаются за аркан.

— Осторожно! Задушить можно... — распоряжается Колька.

С помощью аркана конь выбивается из стремнинного течения и, заметно успокаиваясь, плывет к берегу. Вот он уже коснулся ногами земли. Вода оголила его спину, струится по колючим бокам. Шатаясь, конь с трудом взбирается на берег.

— Коля! — Клава кладет ладони на рукава зеленой стеганки Кольки. В ее черных продолговатых глазах яркие огоньки благодарности. — Если бы не ты... Да откуда ты взялся? Откуда аркан у тебя?

Смущенный Колька протягивает табунщику аркан.

— Вот у него, на седле...

Табунщик, чтобы спрятать глаза, крутит головой.

— Совсем запыл... Вот какой голова, а... Ай, как не запыть. Кричит, кричит... А какой толка? Нет толка! Зачем так?..

— Да, растерялась, — виновато соглашается Клава.

Глаза Кольки сузились, он уколол острым взглядом табунщика.

— Дела своего не знаешь! Еще на других валит... — И обернулся к Клаве. — Фураж вон получил. Полторы тонны ячменя. Куда его? Да ты вымокла! Поехали!

2

На выбоинах и мерзлых кочках, оставшихся еще с осенней распутицы, машину то качало из стороны в сторону, то подбрасывало так, что Клава едва не стучалась о верх кабины. К тому же нестерпимо мерзли ноги. Клава пыталась шевелить пальцами, но они не слушались, ныли, будто зажатые в тиски. Из сапог холод колючими иголками расползался по всему телу и, кажется, подбирался к сердцу.

— Коля, где ты наловчился аркан набрасывать? — Клава старалась не выдавать колотившую ее дрожь.

— Я-то?..

Если бы Клава была повнимательней, она непременно заметила

бы, что ее присутствие волнует и смущает Кольку. Он пристальней, чем требуется, смотрит вперед, на дорогу, которая стала теперь значительно ровнее, а его угловатые цвета чугуна скулы побурели.

— Так это давно... мальчишкой еще. Помнишь, одно лето я коней пас? Ничего сложного... Тренировка, конечно, нужна. Я сначала на пне тренировался.

Клава представила, как Колька упрямо набрасывал на пень аркан, и тихо рассмеялась, засунула подальше в рукава руки. Ей невольно вспомнились школьные годы. Тогда они казались самыми обыкновенными, а порой скучными, надоедливыми. Хотелось как можно скорее получить аттестат. Глупые, глупые, не понимали — то время примечательно хотя бы тем, что для них оно никогда не повторится. Никогда ни ей, ни Кольке, никому из ее сверстников не будет по шестнадцати, никогда они не будут такими беспечными, наивными...

Жили шумно и дружно. Горе или радость одного почти всегда становились горем или радостью всего класса. А теперь вот они стали похожи на барсуков. Отработают день, и каждый забирается в свою нору.

Сидят там, ни о ком из своих прежних друзей не заботясь, и о них никто не заботится.

Вот Колька еще осенью вернулся из армии. Мать умерла, отца из тайги, как говорят, калачом не выманишь. Колька живет один, а ей, Клаве, даже ни разу не пришлось в голову его навестить. А ведь сама жила одна и знает, как это горько.

— Коля, как ты считаешь, — посиневшие губы стали непослушными, и Клава с трудом выговаривала слова, — с годами люди черствеют, что ли?

— Кто как. Иной молодой в тысячи раз черствеет старого.

Клаве стало холодно, просто невмоготу. Она сжалась и думала: «Он обо мне так... Безусловно, обо мне...» А кто-то другой настойчиво убеждал: «Глупости! Ты ему родня, что ли? Прояви участие — он поймет совсем иначе...»

Клава, стараясь избавиться от смущения, сказала — слышала или читала где, — что раньше, в первые годы Советской власти, было больше внимания и чуткости друг к другу. А жили как? Голод, холод, болезни. А теперь, при хорошей жизни, стали будто скорлупой обрывать.

— Не знаю, — сказал Колька, как показалось Клаве, несколько суховато, — не довелось жить в то время. Наверное, тоже по-разному было. Я вот заметил — чуткость во многом от руководителей зависит. Они гон задают. Вот у нас командир дивизиона, майор Сурнин. За солдата, понимаешь, душу выложит. Любили его, как отца, а дивизион всегда на первое место по всем показателям выходил. При нем все командиры батарей и взводов людьми были. А потом Сурнина перевели куда-то, на его место назначили майора Шаметько. Дундук, самодур жуткий. Наверное, был уверен, что людей призывают в армию для того, понимаешь, чтобы их всячески унижать. И главное — коман-

диры батарей, взводов, старшины, сержанты — все давай под этого дурака подлаживаться. Чуть что — наряд, «губа». Хоть волком вой! С дубом Шаметкой вырвался наш дивизион по дисциплинарным взысканиям на первое место, а по всем остальным показателям сел на последнее. А в «гражданке», думаешь, так не бывает? Да сколько угодно, понимаешь!

Колька энергично крутнул руль, сбросил газ. Машина, вильнув, подкатилась к Клавиному дому, послушно замерла в нескольких шагах от калитки.

— Зачем ты сюда? Поехали на мельницу. Надо ячмень дробить. Колька повернулся всем корпусом к Клаве.

— Да ты что, понимаешь? С мокрыми ногами? Надоело здоровой быть?

— Тогда подожди, Коля, — переобуюсь. Я быстро...

— Нет, так не пойдет, некогда ждать. Иди домой, достань с печки пимы, а из печки, понимаешь, горячих щей. Ну, а я сдам все по форме.

Клава вскинула на Кольку глаза. Он улыбался ласково и немного покровительственно. Клава заколебалась.

— Может, не доверяешь?

— Не говори глупости! — Клава вспыхнула, но все-таки сочла нужным добавить: — Знаешь, ячмень — это жизнь. Хоть немного подержим скот. А я, правда, замерзла.

* * *

Колька пришел домой, когда уже совсем стемнело. Только включил свет — на краю печи вырос пушистый черно-белый кот, просяще замыкал.

— Что, брат, проголодался? Я сам не меньше твоего жрать хочу. Провозился, понимаешь, с этим трактором. Ремонтируют черт-те как, абы сбegrить.

Сняв полушубок, Колька сразу почувствовал холод. Он чертыхнулся и подумал о том, что на пороге намерз лед, дверь плотно не закрывается. «Надо сбить. Белый свет не натопишь. Там вон как дует». Колька заглянул в печь и снова надел полушубок, чтобы пойти за дровами.

Набив печь красными лиственничными поленьями, Колька подтолкнул под дрова старую газету, зажег ее, а сам уселся на сутонок, вынул из кармана папиросу. Сейчас он, пока разгорается огонь в печке, покурит, потом сварит картошку в мундире, вскипятит чай, достанет из подполья капусту и огурцы. Хлеб, кажется, есть. Зачерствел, наверное, но ничего, не старик беззубый. Да, а воды-то нет, утром извел остатки.

Колька открыл печь. Газета сгорела, а дрова не занялись. Пришлось искать косырь и шепать лучину. О ноги терся кот, заглядывая в лицо и тихо, надоедливо помякивал.



— Отстань! — раздражался Колька. — Ну, что я тебе, понимаешь, дам? Ты же модник. Хлеб не жрешь.

Ласковое тепло печи проявило в теле Кольки усталость. Наломался он сегодня порядком. Ячмень сгрудил, а потом этот трактор. Допоздна лазил под ним. Теперь бы не за водой идти, а горячего чего-нибудь похлевать да на боковую. Почитать перед сном... Дела!.. Медведю в берлоге, пожалуй, уютней. Можно поужинать, у брата, да сноха стала коситься. Видно, надоел. Уж сколько раз заводила разговор о женитьбе. Вот и Геннадий Васильевич тоже... Зашел как-то, посмотрел и говорит: «Николай, какого ты черта себя и старика мучаешь? Почему не женишься?»

«Жениться! — Колька зло фыркнул, схватил с лавки ведро. — У них, понимаешь, жениться — все равно, что купить что-нибудь в магазине, ботинки или там шапку...»

Колька принес воды, умылся, помыл и поставил на плиту картошку и, усевшись опять на сунунок, подложил в печку дров. Захлопнув дверцу, он слушал, как ворчит огонь, с наслаждением разгрызая твердые, как металл, поленья. Плита сначала побурела, потом стала малиновой.

Колька посадил на колени кота, погладил его. Кот заглянул хозяину в лицо и замурлыкал. Ишь ты, все ласку любят!

Усталость навалилась на плечи, давила, пригибала голову. Колька слушал монотонную песню кота, а веки слипались. Сон стал желанней ужина. «Жениться для того, чтобы быть женатым, другим не мешать? Нет, так не пойдет. Лучше, понимаешь, век холостяком ходить», — думал Колька, но думал спокойно, как о чем-то далеком, постороннем. А картошка кипела, бурлила...

Когда в сенях что-то громко брякнуло, Колька встряхнулся. Клава! Колька толкнул с колен кота, тряхнул еще раз головой. Нет, не сон. Она, Клава! Стоит у порога, улыбается. На ней тот же, что и утром, полусубок с вздетым поверх дождевиком. И только шаль она почему-то заменила черной меховой ушанкой. Пожалуй, кому-нибудь постороннему Клава в своей непритязательной одежде с обветренным до черноты лицом показалась бы самой обыкновенной. А для Кольки она была лучше и дороже тысячи сказочных красавиц.

— Клава!

У Кольки кровь горячей волной бросилась в голову, мысли завихрились, засуматошились, как снежинки в пургу. Пришла! Пришла! Колька не встал, а, кажется, вспорхнул с сунунка. Клава заслонила собой все, больше для него ничего не существовало.

— Да как ты надумала? Ветром, понимаешь, что ли?..

— Да вот, понимаешь, шла. Гляжу, понимаешь, такой сиротливый огонек.

Они коротко взглянули друг на друга и рассмеялись. И от этого смеха у Кольки сразу опало все напряжение. Ему стало легко, свободно и очень приятно. Почему-то вспомнилась школа, и он просто, как в те годы, сказал:

— Так чего ж ты замерла у порога? Проходи, разоблакайся. Теперь уж нагрелось. Вон чай закипает, картошка, должно, сварилась.

Клава не заставила повторять приглашение. Она сняла полушубок, шапку, поправила слежавшиеся волосы, в синей шерстяной кофте подошла к столу.

— Ты что, посуду не моешь, что ли?

— Почему? Мою, только не каждый день.

— Оно и видно... Поставь воды.

У Кольки мытье и особенно вытирание посуды занимает всегда уйму времени, а Клава все сделала в несколько минут. Как замороженный, Колька не отрывал взгляда от маленьких рук девушки. До чего они ловки, проворны!

Ужинали в горнице. Колька, обжигая пальцы, дую на них, выхватывал из чугунок для гостьи самые разварившиеся пухлые картофелины. Клава благодарно кивала, а Колька подкладывал ей ломти хлеба, пододвигал чашку с капустой.

— Ешь... Самая народная еда... Нет, как ты, понимаешь, надумала?..

— Что надумала?

— Да зайти. Здорово!

Клава, склонясь над тарелкой, улыбалась.

Говорили разное, серьезное и пустячное. Клава была довольна от того, что своим приходом встряхнула Кольку, что ему приятно ее присутствие. А Колька без умолку шутил, смеялся, и все время думал об одном и том же: «Вот так бы завтра, послезавтра, каждый день до самого конца, понимаешь... Эх и счастье! Больше ничего не надо».

Клава рассказала о трусливом поведении Пиянтина на реке.

— А чего ты удивляешься? — спросил Колька. — Я так несколько... Иначе, понимаешь, он не мог. Ведь он сидел... Да, за коров. Двух коров медведь задрал, а ему халатность приписали. С ним теперь уж ничего не поделаешь. Таким останется...

Клава в задумчивости водила вилкой по тарелке.

— Тяжело ведь ему так... Вроде хронической болезни. — Клава положила вилку, отодвинула тарелку. — Мне пора... Мама заждалась.

— Да посиди. Рано еще. Вот только четверть десятого, — Колька глянул на ходики, потом на свои наручные часы. — А на моих так меньше.

— Нет, Коля, пойду, — Клава, отворачиваясь от умоляющего Колькиного взгляда, решительно встала. А Колька скис. Мотнув головой, точно отбиваясь от чего-то назойливого, он медленно, с явным сожалением, тоже встал. Помог Клаве одеться, осторожно тронул ее за рукав.

— Клава! Даже не знаю, как сказать, чтобы понятней было. Вот, понимаешь, ночь и в темноте огоньки, такие, понимаешь, светлые островки... Вот и в жизни... Оглянешься и видишь радостные огоньки. И ты вот зажгла такой огонек. Надолго, понимаешь, даже очень надолго.

Клава мягко, с легкой грустью улыбнулась:

— Ох, Коля, ты все еще романтик. Не выветрилось...
— А я и не хочу, чтобы выветривалось.
— Не все, Коля, зависит от нашего желания.
— Это да, — Колька, краснея до кончиков ушей, робко и тихо спросил: — Клава, а нельзя ли добавить счастливых огоньков?
Клаве стало жаль доброго Кольку, да и смотрел он так, что если бы было желание отказать, то все равно она не смогла бы.
— Добавим, Коля. Но счастливые ли они?
Колька встрепенулся, расцвел.
— А это от нас ведь зависит. Только, понимаешь, от нас, — он крепко сдвинул девушке пальцы.

Проводив Клаву, Колька, не снимая полушубка, долго стоял посреди кухни. Опустив голову, думал. Вдруг он заметил, что пол невероятно затоптан.

Колька сбросил полушубок, налил в таз воды и принялся рьяно драить пол.

3

Утром, после завтрака, Марфа Сидоровна решила сходить в «центр». Надо было купить сахару, чаю, спичек и еще кой-какой мелочи. Такие походы для старухи — всегда целое событие. Вернувшись домой, Марфа Сидоровна часа два отлеживается на печи, греет поясницу, и все равно остаток дня она чувствует себя совершенно разбитой.

Оделась Марфа Сидоровна тепло, как при поездке за кормом или дровами, взяла сумку, клюку. Только вышла за ворота — догоняет Надежда Афанасьевна Птичкина. Всплеснула руками и, сильно «окая», затараторила:

— Сидоровна, родная! Давненько не видела тебя. Как живешь? Здоровьице как?

— Да так, скриплю...

Встреча с Птичкиной не доставила удовольствия Марфе Сидоровне. Она не любила сплетен, всячески сторонилась их, а эта брюзгливая старуха, со свекольным лицом и постоянной сахарной улыбкой на тонких губах, славилась своими неистощимыми кляузными и наговорами. Ведь недаром все поголовно село звало ее Боталом, дескать, брякает, звонит на всю округу.

Мужу Боталы назначена более чем приличная пенсия. Получают они ее на почте вместе, вернее, деньги получает она, он же только расписывается, а потом всю дорогу и дома клянчит на выпивку. Пьяным Птичкин безобразен, он придирается к каждому встречному и выбалтывает такое, что другой постыдился бы и в мыслях вспоминать.

Клевета, наветы, интриги стали потребностью четы Птичкиных. Без них они задыхаются, как без воздуха. Зато если удастся сочинить кляузу с подговоренными свидетелями — Птичкины ходят праздничны-

ми. «Погоди! Погоди!...» — грозит Ботало соседке, которую считает виновной в гибели своей курицы.

Теперь Ботало в просторной цигейковой дохе, смахивающей покроем на зипун, шла рядом с Марфой Сидоровной, бережно поддерживая ее под руку.

— Совсем уж не работаешь?

— Нет, какая из меня теперь работница. Себя-то еле ношу...

— Да, здоровье потерять легко, а нажить... Ну, а дочка, Клава, как?

Обходительность и участливый тон Ботала как-то незаметно погасили у Марфы Сидоровны неприязнь к ней, расположили к откровению. Она сказала:

— А что дочка? Дочка не жила еще. То ночи напролет над книжками просиживала, а теперь вот крутится как белка в колесе. Год-то вон какой трудный. Убегает чуть свет и приходит ночью.

Ботало завела вверх глаза, притворно вздохнула.

— Год трудный — что правда, то правда. — И ощерилась в улыбке. — А молодежь нынче не та. Мы при родителях-то дышать боялись, по одной доске ходили. А теперь ушлые, ух и ушлые! Водят нас, простофилей, вокруг пальца.

— Ты к чему? — насторожилась Марфа Сидоровна. — Не пойму...

Мутные глаза Ботала засуетились, ни на чем не останавливаясь.

— Да я так, Сидоровна... К слову пришлось... Не подумай, что из корысти... Тебя жалеючи... Знаю твою жизнь горемычную.

— Ты не жалеяй, а говори, — Марфа Сидоровна настойчиво высвободила свой рукав от рук Ботала, требовательно взглянула в ее оплывшее красно-фиолетовое лицо. Та заговорщицки оглянулась — не стоит ли кто поблизости?

— Вечор иду я это мимо завалюхи Белендиных — свет так и брызжет из окошек, ну чисто тебе алюминация. Да и с самой дороги видать, как сидят они за столом. Значит, Колька и твоя дочка. Глаз друг с дружки не сводят... А больше в доме ни души. Потом Колька встал и задернул занавески...

«Слава богу... Пора к берегу прибиться», — подумала Марфа Сидоровна. Но вслед за этой радостной мыслью явилась вторая: «Дочку мою поносит, грязью обливает».

— Вот тебе и работа... Да с такой работой недолго, избави боже, до греха... Принесет в подоле, ославится...

Марфа Сидоровна строго поджала морщинистые губы, сердито ткнула клюкой себе под ноги.

— Не такая у меня дочка, чтобы глупость позволить. А если и принесет, так не к тебе в дом, не твоя печаль.

Марфа Сидоровна отвернулась и пошла. Ботало, никак не ожидавшая такого оборота дела, растерялась и молчала, потом крикнула вслед:

— Да я ведь упредить хотела! Взбрыкнула, кляча норовистая!

Другая бы мать спасибо сказала, а она горло дерет. Знаем, как в войну мясом обжиралась. И дочка, видать, не лучше... Одного поля клюковки!

Боталу показалось уже ззорным идти с Марфой Сидоровной по одной стороне улицы. Озираясь, — место бойкое, как бы не влететь под машину, — она перебралась через скользкую, с ледком на выбоинах дорогу.

Злость, истоки которой Ботало даже не пыталась выяснить, распирала ее. Вскоре она так распалилась, что стало невтерпеж — заскочила к Феоктисте Антоновне Гвоздиной. Там и отвела душу. Досталось не только Марфе Сидоровне, Клаве, но и покойному Василию и всем родственникам.

Феоктиста Антоновна, угощая подружку чаем, слушала с удовольствием. На ее блеклых, съеденных краской губах играла улыбка. Случай, если он даже целиком выдуман, как нельзя кстати. Он поможет окончательно уничтожить эту алтайку в глазах Игорька. У мальчика что-то осталось от увлечения школьных лет — от внимательной матери ничего не скроется. Это «что-то» надо вытравить, выжечь.

А Марфа Сидоровна так и не сделала покупок. На полпути ей ударило в голову, глаза застлало туманом. Чтобы не упасть, она прислонилась к чьему-то забору, зажала ладонью лоб. Господи, что же это?.. Неужто правда все?.. Да нет, не может... Зайти могла, чтобы проведать. А насчет баловства там — нечего думать, не допустит... Теперь развонит по всему селу. Стыд-то какой! Сама вон сколько вдовой прожила и никто ни разу не заикнулся...

Когда туман в глазах несколько рассеялся, Марфа Сидоровна повернула обратно. Домой брела с передышками и сразу легла.

— Мама, что с тобой? — забеспокоилась Клава, когда вечером вернулась с работы. — Заболела?

— Нездоровится. Щи в печке. Перетомились, поди.

— Да ты вставай. Вместе поедем. Ведь не обедала?

— Нет... Голова раскалывается.

Клава положила ладонь на лоб матери, присела на край кровати. От нее приятно пахло свежестью. И сама она была свежей, румяной. Влажно поблескивали черные глаза.

— У нас есть, кажется, таблетки. Найти?

— Не надо... Пройдет... Сегодня ты рано... А вчера куда заходила, что ли? — Марфа Сидоровна из-под полуопущенных век пристально смотрела на дочь. Если есть грех — он обязательно скажется на лице.

— Вчера? — Клава на секунду задумалась. — Да, у Кольки была. Сидит там, как сурок. Посуда немытая, пол грязный. Как-нибудь забегу — помою пол. В субботу, что ли?..

Марфа Сидоровна улыбнулась.

— Жалеешь всех... И людей, и ягнят... А ведь не все понимают такую доброту.

Утром Клава вышла на крыльцо. Из-за гор, прикрытых искристой дымкой, косыми стрелами вырывалось на небо солнце. Провода и ветви деревьев обросли игольчатым куржаком, стали толстыми. У крыльца под сапогом сухо хрястнуло и зазвенело, точно Клава наступила на лист стекла. А вчера, когда Клава забегала пообедать, здесь так пригрело, что образовалась лужица. Из нее пили куры, в ней с наслаждением смывали сажу печных труб воробьишки.

За воротами Клава еще раз подумала, с чего начинать сегодняшний день. Пожалуй, зайти сначала в свинарник. Узнать, как там дела, повидаться с Эркелей.

Клава не может, да и не старается понять, что влечет ее к Эркелей. Если три-четыре дня они не видятся — Клава уже скучает и обязательно выберет время, чтобы заскочить на ферму или домой к подруге. А иной раз Эркелей сама прибежит. Хорошо, что Эркелей никогда не унывает, ко всему относится с шуточкой. Не каждый так может.

Как-то, больше года тому назад, Эркелей уповорила Клаву пойти в Дом культуры на танцы. Там Эркелей обратила внимание на незнакомого человека.

— Кто это? — толкнула она Клаву.

— Не знаю. Первый раз вижу, — Клаве не понравился мрачноватый и не очень молодой парень. Он чем-то неуловимым напоминал торгаша Анатолия Иванова, который здесь, на танцах, пытался ухаживать за ней, Клавой. Получив, как говорят, от ворот поворот, Анатолий приударил за Нинкой Грачевой. А когда выявилась большая растрата — Иванов бесследно исчез, как испарился. Вскоре уехала и Нинка.

— Хороший... — протянула Эркелей, все время наблюдавшая за незнакомцем.

Клава усмехнулась:

— У тебя все хорошие...

— А чем плохой?

Вскоре молодой человек, слегка вихляясь, подошел к ним. Настороженная Эркелей до боли вцепилась в Клавину руку выше локтя.

— Разрешите?..

Эркелей, поняв, что приглашение адресуется ей, вся вспыхнула и с излишней поспешностью согласилась.

После танца Эркелей о чем-то оживленно болтала с партнером, потом они вновь танцевали. В синем костюме с узкой и короткой юбкой, смуглая, с подкрашенными в меру губами, с тяжелой короной черных волос, она была хороша. Откинув чуть голову, она так вдохновенно кружилась в вальсе, что Клава поняла — Эркелей не до нее. Эркелей забыла о подруге, она вообще забыла обо всем на свете. Клаве стало грустно и немножко обидно, и она, отказавшись от приглашения на танец, ушла.

А утром, чуть свет, прибежала Эркелей.

Марфа Сидоровна только еще поднялась и стояла у плиты, думая, что приготовить на завтрак.

— Чего тебя в такую рань принесло?

— Да так, тетя Марфа. По пути на работу...

— Ну и по пути! Хотя молодым семь верст — не крюк... Спит она. Подожди.

Эркелей присела на лавку, но тут же встала. Ждать она не могла, было невтерпеж. Заметив, что Марфа Сидоровна, взяв кастрюлю, намеревается спуститься в подполье, Эркелей обрадовалась, но виду не подала. Она услужливо помогла открыть тугую дверцу. А когда голова Марфы Сидоровны в старом клетчатом полушалке скрылась под полом, Эркелей, лукаво усмехаясь, юркнула в горницу.

От прикосновения холодных рук Клава завозилась, потянула на себя одеяло.

— Да хватит дрыхнуть! Я так совсем не спала.

Открыв глаза, Клава не сразу поняла, кто не дает ей покоя.

— Баламутная! С танцев? — И снова потянула на себя одеяло.

Но не так-то легко отделаться от Эркелей. Она хихикнула и запустила руку под одеяло.

— С каких танцев? Ведь утро. Девятый час, — Эркелей, не смущаясь, добавила добрых полтора часа.

— А чего ж тогда не спала? Провожались, что ли?

— Да нет... Не могла... Знаешь, он кто? Фотограф райпромкомбината. Из Верхнеобска приехал.

— Чего его к нам принесло?

— А почему мне знать? Денег у него, видать, гора. Фотографы всегда с деньгами.

Сонная Клава рассмеялась.

— Чудачка! Какое тебе дело до его денег? Уж не грабить ли собираешься? А может, замуж?..

— И нечего смеяться, — обиделась Эркелей. — Что ж мне век в девках сидеть? Двадцать седьмой пошел...

Клава сердито хмыкнула.

— Ты просто невозможная! За кого собираешься? Знаешь? Что он за человек?

Эркелей нахмурилась, отвела взгляд.

— Всех узнавать — жизни не хватит. Пока узнаешь — он уедет или другая его подцепит. Вот и узнавай!

Клава сердито сбросила с себя одеяло.

— Нет, Эркелей, ты просто ненормальная, честное слово! Как же можно так? Ведь не шутка. Выскочишь, а потом будешь каяться. А он что, предлагает?..

— Да нет, не сватал, а разговор заводил. Говорит, плохо бобылем. Уже под тридцать. Никому не нужен. Как собака, говорит, бездомная.

— Ой, врёт он все! — убежденно воскликнула Клава. — Смотри, Эркелей, втюришься...

Свадьба была шумной. Жених напился еще накануне и целую неделю, как говорят, не просыхал. В обнимку с тестем они шатались по селу. Старик-тесть, сорвав с головы круглую рыжую шапку, кричал:

— Вот какая мой зять! Ой-ля-ля! — И затягивал алтайскую песню. Медовый месяц у Эркелей оказался недолгим. Вскоре она пришла на работу с подбитым глазом.

— Что с тобой? — удивилась Клава.

— Да так... — Она хотела сдержаться, не рассказывать, но не смогла. — Вытурила я своего... Полешком по горбу... — Эркелей громко расхохоталась. — Не было мужа — такой не муж. Пошел он к черту! У него жен, может, сорок будет! Как бай... Лист этот... как его? Алиментный, что ли? Прислали.

— Что я тебе говорила!

— Э, что там говорила!.. — рассердилась Эркелей. — Говорить все умеют.

После рождения сына, которого назвали Костиком, Эркелей удивительно похорошела. Взгляд ее черно-коричневых глаз приобрел постоянную мягкость, характер стал ровней, спокойней. «Все, отвыбрыкивалась», — сказала как-то Марфа Сидоровна.

Жизнь Эркелей приобрела новый смысл. Об этом она сама сказала подруге: «Нашла, чего не теряла. Знаешь, как хорошо, когда ребенок. Есть о чем думать. Домой несусь, как белка в дупло. Схвачу его, грудь выну. Нет, не расскажешь! Да ты не поймешь. Я ведь тоже не понимала. Однако я перейду в свинарник. Зина давно зовет. Тут рядом... За минуту домчусь. А с поросятами лучше»...

Клава влюбилась в Костика, когда ему перевалило за полгода и он стал сидеть между подушек, цепляться крючками пальчиков за все яркое. Клава жадно схватывала ребенка, нянчила и ловила себя на мысли — ей тоже хочется иметь вот такого малыша. Но ребенок доставляет счастье, когда есть отец и жизнь между родителями ладная. Для Эркелей же Костик больше, пожалуй, утешение, чем счастье. А мальчишка забавный... Глазенки кругленькие, черненькие...

Вот и сейчас, подходя к свинарнику, Клава вспомнила о Костике. Наверное, спит еще. Вечером надо заглянуть.

Свинарник давно перестроили. Делали своими силами, без проекта, как бог на душу положит. Помещение получилось неказистым на вид, но теплым, не промерзало.

Прошлым летом Ковалев достал на одном из верхнеобских заводов трубы, к зиме в свинарник и коровник подвели воду.

Еще в дверях Клава услышала голос Эркелей.

— Ну куда ты? Ой, дурная! Клетки своей не знает.

Клава помогла загнать на место свинью, прошла по свинарнику. Свиньи, худые, поджарые, злобно визжали, требуя еды. Около матерей суматошно вертелись поросята.

— Не кормили, что ли?

— Кормили. Разве их накормишь, таких голодных? Дробленку экономим. Зина в правление побежала. Хотела тебя там застать или Геннадия Василича. Молока надо.

— Молока!.. Где взять его, молока? Коров за хвосты поднимаем... Какое же молоко?

— А так все пропадут. За ночь восемнадцать... — Эркелей потянула подругу в полутемный угол. Там, прикрытые старой мешковиной, лежали трупы поросят. — Вот, пиши свои акты! Весной бумаги много будет, а поросят не будет.

— Что ты кричишь? Что указываешь! Тоже мне!.. Я, что ли, морю!.. Вспышка оказалась мгновенной. Запнувшись на полуслове, Клава опустила голову.

— Думаешь, мне легко? Я тоже казнюсь.. А чем помочь?

Эркелей толкнула плечом Клаву, вызывая на себя ее взгляд.

— Ох, ты и псих! — И расхохоталась, опять толкнула.

— Станешь психом... — Клава подняла на Эркелей глаза и виновато улыбнулась.

— Понимаю... Помнишь, я замуж собиралась — тоже психовала. Когда свадьба-то? Даже не пригласила...

Удивление в черных продолговатых глазах Клавы сменяется усмешкой. Опять Эркелей чудит. Не может без этого.

— А я сама приду. Ведь не выгонишь. — Голос Эркелей — смесь обиды с настойчивостью. — С таким можно жить. Если бы мой был таким...

Клава, глядя на Эркелей, постепенно убеждается, что та не шутит.

— Откуда взяла?

— Брось прикидываться! Все село говорит. Сарафанное радио... Чего ж скрывать?

— А за кого, говорят, выхожу?

— Да ну тебя, притворица! За Кольку, кого же еще... Скажешь, неправда?

Клава задумалась.

— Не знаю... Может, и правда...

И ушла из свинарника.

А вечером многие видели, как Клава с Колькой вместе шли к Дому культуры. Колька, побритый, наодеколоненный, в модном коричневом пальто, которое придавало ему солидность и представительность, почти непрерывно смеялся, заглядывая Клаве в лицо. Клава на любезность старалась отвечать любезностью, но получалось это порою невпопад. Впрочем, Колька, ослепленный счастьем от близости любимой, ничего не замечал.

«Вот возьму и выйду, чтобы языки не чесали... — мстительно думала Клава, перехватывая любопытные взгляды встречных. — Коля, он добрый»...

Ночью у Ковалева разболелась нога. Ломило чуть повыше лодыжки — в том месте, куда много лет назад впилась фашистская пуля.

Сонный Ковалев то поднимал ногу, то вытягивал, передвигая ее,

стараясь найти наиболее удобное положение. Но ломота не унималась, а вскоре стала такой, что Ковалев не мог больше спать.

Согнув в колене ногу, он дотянулся до большого места, начал растирать. Вот чертовщина! Раньше не было такого. Старость, что ли? А что такое старость? Враг? Со всяким врагом нужно бороться.

Ковалев нащупал на прикроватной тумбочке папиросы и спички. «А ведь это мне не союзник, — подумал он и отдернул руку. — Вообще, надо бросать. Хватит, подымил! В легких копоти, наверное, не меньше, чем в печном дымоходе».

— Что возишься? Вот возится и возится... Не хочешь спать — другим не мешай, — пробрюзжала жена и отвернулась к стене.

Кажется, ничего особенного не сказала Катя, а в Ковалеве ворохнулись обида и отчужденность. Он подумал о том, что более внимательная жена непременно поинтересовалась бы, почему муж не спит, почему возится. А ей все равно. Под одной крышей, под одним одеялом, а каждый сам по себе. И не так просто понять, как все произошло, кто виноват в этом.

За шесть лет жизни в Шебавино Катя осталась такой же чужой для всех, как и в день их приезда. Она ходит по селу с гордо поднятой головой, никого не замечая и почти ни с кем не здороваясь. И сельчане ей платят тем же: насмеваются, втихомолку придумывают клички одну злее другой. «Геннадь Василеч, ох, и женушка у тебя... Где только выкопал?...» — уж не раз шутливо справлялась Эркелей.

— Ну что ты, Катя, так?.. Ты попроче бы, — советовал Ковалев, — народ тут хороший, душевный... Есть, конечно, отдельные...

— Вот еще! Не хватало, чтобы я, жена председателя, водилась тут со всякими!

Ковалева покорило, хотелось спросить: «А чем же ты лучше «всяких»? Однако, сдержав себя, он терпеливо объяснял:

— Я не прошу тебя водиться. Но относиться проще, по-человечески ты можешь и должна. Пойми, Катя, для тебя же самой лучше. И для меня тоже... Ну, а водиться... Если ты считаешь зазорным с простыми колхозниками, тут много других людей... Вот учителя, врачи...

По лицу жены Геннадий Васильевич видел, что она согласна с ним. Это обрадовало его.

«Дурной!.. Завяз в колхозных делах, жене совсем не уделяю внимания. А с Катей можно договориться... Можно!»

Геннадий Васильевич положил руки на плечи жены. Она вздохнула, прильнула щекой к его руке, но вдруг вся дернулась:

— Нашел дуру! Знаю эти знакомства!.. Чтоб за моей спиной шашни заводили! Нет уж, не выйдет!

Больше никакие доводы не помогали, да и приводить их не хватало больше терпения.

...Геннадий Васильевич, стараясь не потревожить жену, выбрался из-под одеяла, надел брюки, сунул ноги в шлепанцы. Сколько же времени? Отыскав на тумбочке часы, он взял спички, а заодно прихватил и папиросу. Двадцать пять шестого. Скоро дойка, надо побыть...

От первой же затяжки Геннадий Васильевич закашлялся и, косясь в сторону жены, вышел в кухню. Там опять затаился и опять закашлялся, зло взглянув на папиросу. Зажатая между пальцев, она испускала тонкую и, как показалось Ковалеву, ядовитую струйку. Самоубийство, медленное самоубийство...

И откуда только в ней такая бешеная ревность? Всему бывают причины. У нее же никаких. Пора бы, кажется, понять. Ведь десять лет прожили... Он и в молодости, до женитьбы, не увлекался такими делами, а теперь тем более...

Кто-то, кажется Лев Толстой, говорил, если ты подумал о чужой женщине, значит, ты уже совершил прелюбодеяние. Но у него даже в мыслях ничего подобного не бывает. Да где там! Мечется с утра до вечера, а сделанного не видно.

Геннадий Васильевич бросил на шесток папиросу, приоткрыл дверь в детскую. Из-за горы, будто украдкой, заглядывала в окно луна, круглая и белая, точно напудренная.

Полоса холодного анемичного света, упав за подоконник, рассекла поперек комнату, забралась на подушку Володьки. Сынишка лежал на спине с чуть приоткрытым ртом. Над крутым выпуклым лбом сухим кустиком упрямо торпорщился вихор.

«Растет... Десятый покати...» — Геннадий Васильевич с умилением глядел на мальчишку. А тот вдруг весь трепыхнулся, как выброшенная на берег рыба, ударил обеими ногами в одеяло, что-то невнятно пробормотал и повернулся на бок.

Поправляя сбитое одеяло, Геннадий Васильевич заметил что-то торчащее из-под подушки. Осторожно потянул — молоток. Засунул дальше руку — там кусок проволоки, складной нож и еще какие-то железки.

Геннадий Васильевич улыбнулся. Строитель... Старое дерево подгнивает, сохнет, а рядом бьют из земли отростки... Иначе будет жить... С чистыми помыслами, с ясной целью.

Да, когда нет цели, человек кружит, топчется на одном месте, другим мешают. Вот и Катя...

Геннадий Васильевич вспомнил, с каким волнением и нерешительностью он сообщил жене о том, что его посылают в село. Тогда Катя, к его удивлению, сразу согласилась. А теперь она при каждом удобном случае упрекает: «Все эти... тридцатитысячники уехали. Один на весь район остался. Прилип тут. Всякие Эркелеи держут... В городе ведь таких не найдется»...

Геннадий Васильевич наспех умылся, оделся. Уже в полушубке, валенках и шапке подошел к столу. Положив на угол большие меховые рукавицы, налил из термоса стакан чаю. Стоя размешал сахар, стоя же выпил. Взяв рукавицы, задумался. Нет, дальше так нельзя... Надо что-то предпринимать.

Легко сказать, предпринимать... Что предпримешь?

Побывав на фермах, завернув на обратном пути на пилораму, Ковалев в восьмом часу пришел в контору.

Дожидааясь председателя, в коридоре на исшарканной, тяжелой, из лиственницы, скамейке и у стены на корточках сидели колхозники. Все они, как по уговору, сосали трубки и самокрутки. Такое бывало каждое утро, и Ковалев, давно привыкнув к дыму, не обращал на него внимания. Но сегодня он почему-то взорвался. Доставая из кармана ключ, чтобы открыть свой кабинет, сказал:

— На что похоже? Не продохнешь. Хоть топор вешай!

— Правда, — поддержала председателя Зина Балушева. — Я уж говорила... Шли бы вон на улицу...

Как только Ковалев распахнул дверь, дым, опережая председателя, клубом ввалился в кабинет.

Ковалев бросил на шкаф шапку, рукавицы, не снимая полушубка, мрачным сел за стол, запустил пальцы в бороду: исподлобья смотрел на заходящих колхозников.

— У, какой барышня стал Генадь Василич! — Бабах выбил об край лавки трубку, сунул ее за голенище. — Дым нехорошо, а овечка дохнет хорошо, а? Пойдем, сынок.

Шестилетний Эркемен, в такой же белой нагольной шубе, как у Бабаха, перетянутой такой же синей опояской, шмыгнул не очень опрятным носом и вцепился одной рукой за карман отца.

Спустя несколько минут кабинет забили, как говорят, под завязку. Наиболее расторопные захватили мягкий пружинный диван, некоторые — стулья, но многим пришлось стоять.

К столу протолкалась Клава. Расстегнув полушубок, она достала из внутреннего кармана пачку листов, молча положила их перед председателем.

Ковалев пододвинул к себе помятые листки — акты о гибели животных, взял из стакана толстый цветной карандаш, но тут же зло бросил его.

— Черт знает!.. Ты что, не могла в другое время?.. Обязательно надо с утра настроение испортить!

Клава в смущении отступила зачем-то от стола, глянула на колхозников, как бы спрашивая: «Что с ним?», а потом опять шагнула к столу:

— Простите, Геннадий Васильевич, не знала, что вы стали так дорожить своим настроением.

Укол оказался болезненным. Ковалев весь дернулся и с трудом удержался, чтобы не грохнуть кулаком по столу. Глупая девчонка! Он говорит так потому, что больше уже не может. Такое выше сил всякого. Сколько можно, черт возьми!

Ковалев поднял голову. Острые булавки в глазах, бледные, плотно сжатые губы говорили о том, что Клава полна решимости не только за-

щищаться, но и нападать. «Характер выказывает», — подумал Ковалев, не отдавая себе отчета, хорошо это или плохо.

Он взял опять карандаш и, не читая, начал подписывать акты. Подписывал зло и небрежно. Черкнет «К», пустит несколько завитушек — и все.

— Беда! — тяжело вздохнула Зина Балушева, сдвигая на затылок пуховый платок. — Весь труд прахом идет. То поросята дохли, а сегодня матка супоросая... Насилу вытащили из клетки.

— Видал. Что ты мне докладываешь? — Ковалев, подписав последний акт, хлопнул ладонью себе по шее. — Вот где эта ваша свиноферма. Ночи из-за нее не сплю. Будь моя воля — к чертям собачьим бы ее!

Клава удивленно хмыкнула и рывком запахнула полушубок. Что с ним сегодня? Говорит такое — ни в какие ворота не лезет.

— Это как же, Геннадий Васильевич?... Самая скороспелая отрасль... Помните, Завалихин, председатель «Зари», сказал на совещании: «Только свиньи нас выведут в люди!».

В иное время Ковалев, не лишенный чувства юмора, обязательно расхохотался бы. Но теперь пододвинул к себе газеты, начал черкать на полях цветным карандашом.

— У этого Завалихина свой котелок ни черта не варит. Повторяет, как попугай, что в газетах пишут да по радио передают. Разве можно все на один аршин мерять? Что хорошо на Украине или в Кулунде — у нас совсем не идет. Мы же в космосе живем, спутники хоть руками хватай.

— Правда! — Бабах рассмеялся, его лицо покрылось сеткой мелких морщин. Он достал трубку, сунул в рот, но, глянув на Ковалева, отправил опять за голенище. — Рядом с Ульгеном живем. Суседи!..

— Простите меня, Геннадий Васильевич, но у вас сегодня какое-то сходство с Кузиным, Григорием Степановичем. Тот тогда тоже так... Помните?

Ковалев, пожалуй, не придал бы большого значения словам Клавы, если бы не Бабах, который оглушительно хлопнул ладонями по подолу шубы и громко, с гыканьем расхохотался.

— Правда! Тот все медведем рычал.

Бабах разом осекся, заметив, как побагровела шея председателя, как он до белизны в ногтях сдавил толстый граненый карандаш. В кабинете установилась зловещая тишина.

«Чертовка!.. Поймала... — Сквозь клокотавшую злость Ковалев почувствовал нечто похожее на восхищение. — Палец в рот не клади... Я в самом деле... закусил удила... сорвался... А этот ржет...».

Маленький Эркемен вдруг прильнул к отцу и заревел, да так громко, что в кабинете все опешили. Растерялся и Бабах.

— Тохто! Ты что, сынок! Что? — спрашивал по-алтайски Бабах.

Ковалев недовольно повел глазами в сторону ревуна, как бы говоря: «Этого еще не хватало!». А Эркемен, дергая отца за концы опояски и уткнувшись лицом в полу его шубы, продолжал истошно реветь.

— Тохто! — Бабах оторвал сынишку от полы своей шубы.

Ковалев увидел мокрое личико с размазанной на скулах грязью. Из ноздри то выглядывал, то прятался зеленый ручеек.

— Чего это он? — И обратился непосредственно к мальчишке. — Нос вытри! Мужик тоже...

Бабах, склонясь над сынишкой, настойчиво спрашивал по-алтайски, а когда тот, наконец, что-то ответил сквозь рыдания, Бабах горестно качнул головой:

— Барашка, говорит, маленький жалко. Зачем, говорит, председатель ничего не делает, чтобы маленькая барашка не дохла?

Ковалев выбросил на стол обе руки и расхохотался.

— Хитер!! Одного только не учел... Ты что, думаешь, я так, зазря прожил тут шесть лет? Ничему не научился? Ведь мальчишка домой просится, к матери, а ты развел...

Бабах смущен, в кабинете смеются. Ковалев закуривает папиросу, Бабах тоже, теперь уже смело, без оглядки на председателя, достает из-за голенища трубку, набивает ее табаком из кожаного кисета.

— Хитрить начинаешь?

— Э, как не будешь хитрить? Овечка жалко...

— А ты напейся. Как тогда... Помнишь?..

У Ковалева под усами колкая усмешка, а Бабах усиленно сосет трубку, жадно глотает дым. Решительно оттолкнув смущение, он говорит с вызовом:

— А что? И напился бы, если бы овечка перестала дохнуть. А так все равно... Ты вот председатель... Почему такое позволяешь? Какой толк?..

— Эх, Бабах, вот именно председатель... — Ковалев склонил голову. — Председатель, а не бог всемогущий...

— Вся работа, как дым, все в трубу. Зачем так? — Бабах говорит с душевной болью, чуть не со слезами на глазах. — Бог нет, нам председатель бог.

Его дружно поддерживают. Ковалев видит, что никто, даже сердобольная Зина Балусева, не хочет войти в его положение. Все требуют спасти скот.

— Государству мясо нужно, а мы закапываем...

— С такими делами по миру всем колхозом пойдем.

— А кто подавать будет? Не найдется...

Ковалев еще ниже гнет голову. От обиды горько, будто таблетку хины во рту раздавил. «Да вы что, черт вас забрал бы?—хочется крикнуть ему. — Не видите — высох весь, почернел? Что я могу сделать, что? Если бы у нас одних. Кругом бескормица, во всех колхозах и в соседних районах».

Но Ковалев ничего не говорит. Ему почему-то вспоминается свой приезд в Шебавино. В ту зиму тоже была бескормица, скота пропало, пожалуй, не меньше, чем теперь. Но люди были удивительно равнодушными. Сдохнет овца, свинья или даже корова — преспокойно сочинят

акт, так же преспокойно закопают и все, будто так и положено. Такое безразличие бесило тогда Ковалева. А теперь люди вон как бунтуют, признавать ничего не хотят, хоть из собственной кожи вылазь, а скот спасай.

«Да, выходит, не даром прожил я тут шесть лет. — Ковалев довольным взглядом прошелся по лицам окруживших его колхозников и тут же насупился, с хрустом крутнул кончик уса. — Нашел чем утешиться!.. Что же делать, что? Коровник раскрыть, кошары? Надолго ли хватит той соломы?»

5

Откуда-то из узкого кудлатого ущелья с гулом, как из огромной трубы, вырывается ветер. Ярься, он мечется по селу, безжалостно гнет, коверкает вершины деревьев, придиричиво ищет, где что плохо положено, где что ослабло. Вот он грохнул, загудел железом на крыше, остервенело хлопнул ставней, задрал пласт черной соломы на сарае, а курице, поимевшей неосторожность выскочить из-за угла дома, так ударил в хвост, что она, бедная, опрокинулась.

Хохотнув, ветер помчался дальше. Он со свистом втискивается в большие и малые щели. А в затиши хозяйничает солнце. Яркое, румяное, оно нежными теплыми ладошками гладит щеки детишек, которые под стеной избы, на черной подсыхающей круговине, режутся в «чику». Увлеченные игрой ребята распахивают пальтишки и шубенки, а самый отчаянный даже шапку сбросил.

Солнце, улыбаясь, запускает в сивые вихры мальчонки свои лучи, точно тонкие нежные пальцы. У щедрого солнца хватает ласки и на дворняжку — она, вытянувшись около ребят на завалинке, блаженно щурится, лениво покручивая хвостом.

А ветер беснуется. Выскочив из переулка, он ударил с налета Ковалева в загорбок. Ударил так, что у Геннадия Васильевича стрельнуло в лодыжку, отдалось в пояснице. Задержав шаг, Ковалев поднял воротник, а ветер уже рванул за полу полушубка, толкнул в бок.

Ковалев, припадая на разболевшуюся ногу, ступил на тротуар в три доски. Затоптанный до черноты ледок маслянится, а мокрые набухшие доски дымят парком, который ретивый ветер сейчас же сминает.

У крыльца деревянного здания райкома Ковалев бросил короткий взгляд на большие окна второго этажа. Думая, с чего и как начать разговор с Хвоевым, Геннадий Васильевич дольше, чем требуется, тер о деревянную решетку ноги.

«Скажу — так нельзя. Невозможно!.. Люди требуют...»

Бульк, бульк, бульк... Редкая капель, пробуравив снег, билась о наледь.

Размеренно и тяжело заскрипели деревянные ступени. Шел кто-то грузный.

«Э, да что толку? Разве в первый раз?» — Ковалев снизу исподлобья косился на чьи-то сапоги — они спускались все ниже и ниже.

«Деготьком насытились. На всю лестницу несет... С запасом сработаны — на двое шерстяных носок или на толстую портянку», — отметил Ковалев, не переставая думать о своем наболевшем.

— Ковалев! Геннадий Васильевич!

У Ковалева никогда не было неприязни к Кузину, но сегодняшняя встреча не обрадовала Геннадия Васильевича. Пожалуй, причиной было давешнее напоминание Клавы о том, что он, Ковалев, стал походить на Кузина. И этот смех Бабаха... Не хватало еще, чтобы скатиться до такого уровня...

— Давненько не видались, — простуженно хрипел Кузин. Перекинув из правой руки в левую большущие шубенные рукавицы, он подал Ковалеву заскорузлую ладонь. — Ну как вы там?.. Синюш-то живой?

— Живой.

— Марфа Сидоровна как? А Чма? Вот чабан! С руками оторвал бы ее у тебя. И скажи — поставила Бабаха на ноги. А ведь под заборами валялся. Все рукой махнули...

Ковалев, удивленный необычным многословием Кузина, сказал:

— Извини, Григорий Степанович. Некогда. К Хвоеву спешу.

— К Хвоеву? Тогда поворачивай оглобли. Я вот тоже к нему хотел. Заболел Валерий Сергеевич.

— Не может быть! Только звонил ему. Каких-нибудь полчаса...

— Оно все так... Вон, видишь, камень около Дома культуры? Тонн семь, пожалуй. Когда я был мальчишкой — он на вершине горы лежал. А потом ночью, в грозу, шархнул оттуда. В один миг. Корову в стойке подмял...

— Что с Хвоевым? Так он мне нужен!

— Сердце, говорят... Врача вызывали.

— А второй?

— Тоже нет...

Они пошли тротуаром, но, так как двум солидным людям на трех досках рядом не уместиться, — свернули на дорогу. Григорий Степанович продолжал расспрашивать о людях и делах родного колхоза. Отвечая коротко, неохотно, Ковалев думал: «Да что я, в самом деле? Человек ко мне всей душой, а я боком...»

— А ты как, Григорий Степанович? Не слышно, чтобы тебя склоняли... Падеж большой?

— Да пока бог миловал. Ягнят несколько пропало.

«Пригласить домой, взять пол-литра? Катя надуется. Скажет — не предупредил, не приготовилась. Вечная история»...

— А у тебя что, падеж?

— Есть. Григорий Степанович, я не обедал. А ты как?

— Да не мешало бы подзаправиться в дорогу. Трястись в седле долго.

— Так пойдем в чайную.

Когда сняли полушубки и шапки, Ковалев удивился — на Кузине новый костюм. Хотя материал грубоватый, но костюм приличный, сидит хорошо, если, конечно, не смотреть вниз — отглаженные старухой брюки

заправлены в сапоги. Но самое поразительное — галстук, темно-синий в светлую горошину, с чуть засалившимся от подбородка узлом. «Ну и ну! Выдает старик!»

Ковалев невольно осмотрел себя — брюки давным-давно забыли утюг, синий френч с глухим воротом замызгался. Опустился он, черт побери!

Сели за стол, у окна, и Ковалев опять сделал открытие — Григорий Степанович, оказывается, не только побрит, но от него веет одеколоном, напоминающим запах свежего разнотравного сена.

Взяв заляпанный гарниром листок, Ковалев подумал: «Помолодился для райкома. Бойтся, чтобы на пенсию не отправили. Хотя такое не в его характере. Приспособливаться не умеет».

— Что вы там разглядываете? — с сердцем спросила официантка. — Пшенный суп, котлета с пшенной кашей, пшенная каша отдельно... Ну, чай еще... Больше ничего... Незачем попусту глаза портить.

Ковалев ткнул пальцем в меню.

— А тут вот гуляш с картофельным пюре.

— Мало ли чего там написано... Вчера еще было...

— Проса не сеем, а пшенкой душат. Прохвост этот ваш Гвоздин! — Кузину прокрутил головой, точно галстук душил его.

— Гражданин, вы осторожней на поворотах!

— Ты не рявкой, а принеси две коклеты... Иль сколько закажем. И чаю...

— Подожди, Григорий Степанович, — посоветовал Ковалев.

— А чего годить? Не был тут и не приду больше.

— Спокойней. Я сейчас... — Ковалев встал, ища кого-то глазами, Кузину сказал: — Попробуем вступить в дипломатические переговоры.

Ковалев, сунув голову в раздаточное окно, поговорил с кем-то, затем нырнул в боковую дверь, оттуда прошел к буфету.

— Порядок. — Он вернулся к Кузину. — Шницели приготовят. Грибки есть. Водочки заказал.

— Это ты зря.

— Для встречи. По стопке.

— Бросил я это дело. Начисто!

— Со здоровьем плохо? На вид ничего.

— Время, брат, и железо ест.

Когда официантка поставила на стол грибы, а потом маленький пузатый графинчик, Кузину потер ладони и крикнул.

Ладно уж... За встречу... Только чтобы... — Он показал глазами на графин. — Первый и последний... А знаешь, мой Васятка осенью медведя ухлопал. Истина! Матерый медведище... Васятка со старенькой берданкой, а дружки его совсем без ничего... С палками... Вот ведь обормоты!

— Здорово! — восхитился Ковалев, все время думая, как Григорию Степановичу удалось миновать бескормицу. Возможно, он залихват, на пушку берет? — Да сколько ему лет, медвежатнику?

— В четвертом. Учиться, дьяволенок, никак не хочет. Снарядит

его Аксинья в школу, наказов всяких надает. А он как за порог — портфель в сено, а сам в тайгу. — Кузин рассмеялся, явно гордясь выходками приемыша. — Ну, давай! За встречу!

Поймав на вилку скользкий гриб, Кузин с хрустом прожевал его, потянулся за другим.

— Ничего, вкусные... Конечно, не чета домашним, но есть можно, даже вполне... У моей старухи цветок имеется с такими пестрыми листьями. Забыл, как она его называет... Положишь листок этого цветка на влажную землю — через два-три дня корни из себя обязательно пустит. Вот и ты таким цепким оказался. А я, по совести сказать, полагал — до первого ветерка. Сорвет, думаю, и понесет как перекасти-поле. Сколько их всяких приезжало! Счета нет...

Ковалев давно не пил, и теперь, после второй рюмки, он почувствовал, как столичная, согревая его, перебирает каждую жилку. Все самое сокровенное поплыло наверх, запросилось на язык.

— Григорий Степанович, — Ковалев вместе со стулом подвинулся к соседу, — ты знаешь, как в последние годы правительство заботится о сельском хозяйстве. И закупочные цены, и планирование, и реорганизация МТС — много всяких мер. Но когда все это в полной мере до нас дойдет? Не на бумаге, конечно...

Ковалев ткнул рожками вилки в край тарелки — тарелка крутнулась, отскочила. А Ковалев наставил в упор на соседа пытливый взгляд.

Глубокие, точно под увеличительным стеклом, рытвины морщин, крупные поры на старчески рыхлом носу почему-то заставили Ковалева подумать о том, что он затеял никчемный разговор. Похоже — Кузин живет по-птичьи, не мудрствуя, не ломая головы.

— Правильно, мер много принято, — согласился Григорий Степанович, — только нелегко этим мерам к нам на горы взбираться. Которые еще посильней — ничего, хоть с опозданием, но поднимутся. А некоторые совсем внизу остаются...

— А райком на что? Дело Хвоева — подхватывать эти меры, драться за них.

Кузин достал из кармана железную банку из-под зубного порошка, газету, свернутую по размеру сигарки, спички.

— Пока твоего шмицеля дождешься.

Ковалев подумал, что Григория Степановича голыми руками не возьмешь — хитрый. И слова он коверкает умышленно, дескать, видишь, какой я сиволापый, а в жизни разбираюсь.

— Сейчас принесут. Подожди курить. Вот «Беломор»... Урицкого...

— Кашляю я с них... Не так все просто, мил человек... Валерий Сергеевич поначалу горячо взялся. Но ведь долго против течения не намахаеть — сдохнешь. Вот помнишь шумиху с пшеницей? Ты тогда взял сторону Гвоздина, этого проходимца... Ведь держал...

Ковалев отвел глаза к окну, на котором сиротливо маячил горшок с полусохшей геранью.

— Сам знаешь — новому человеку нелегко разобраться в обстановке. А я тогда только приехал. Думал, как кормовую базу создать. Открытое признание Геннадием Васильевичем своей прошлой ошибки понравилось Кузину, но он не преминул назидательно добавить:

— Не узнавши броду, говорят, не лезь в воду. А ты полез... Теперь, поди, не сказал бы такого. Каждое зерно для нас золотым становится. Понял?

— Давно... — с горечью вздохнул Ковалев. — И не только это... Много другого понял. Вот свиньи меня сожрали, Григорий Степанович!

— Ничего удивительного! Свиньи, они, дьяволы, такие. Им только давай... Они, можно сказать, всех председателей в наших местах пожирают.

— И куда я только не писал! — Ковалев, облокотясь о стол, подпер ладонью подбородок. — В Верхнеобске на совещании выступал. Да ты же был, помнишь?

Кузин утвердительно кивнул.

— Помню, как же... Громко говорил, ладно.

— А что толку?

— Какой же ты хочешь толк? По-моему, речь сказать, что вон камешек в Катунь бросить — булькнет и все, будто не бросал...

Официантка принесла шницели. Около плоского, напоминающего подметку, куска мяса — ломтики картофеля, четвертушка дряблого соленого огурца, кругляшок поджаренного яйца. Все это Кузин рассматривал с любопытством и удивлением. Наклонясь над тарелкой, жадно тянул в себя воздух.

— Ишь, подлые!.. Захотят, так сделают. А то пшенка... Эй, девка, чаю мне два стакана, да погуще!

А Ковалев между тем думал о том, что Григорий Степанович главного — как он хозяйствует на новом месте — не сказал, все вертит вокруг да около. Как вытащить из него это главное? А возможно, нет у него ничего за душой? Просто цену себе набить старик старается. Побрезговали, мол, тогда, а я вот каким оказался, получше вас, образованных.

— Раз уж такое дело — давай еще по стопке. Под шмицель. ...Я ведь раньше крепким насчет этого был. Литру закину и хоть бы что, ни в одном глазе, даже баба не заметит.

Когда съели шницель, официантка принесла густой чай. Кузин весь розовый, кажется, помолодевший, прикоснулся к стакану.

— Горячий... Люблю горячий и чтоб густой.

Кузин начал мастерить толстую самокрутку, а Ковалев спросил:

— Ну, а тебя, Григорий Степанович, свиньи не сожрали еще?

— Да как тебе сказать... Я вот часто вспоминаю своего отца. Хозяйство небольшое было, но все равно смекалка требовалась, потому как кругом прорехи. Бывало, осенью отец все думает, ломает голову, меня на подмогу кличет: «Гришка, сколько у нас сена? Десять возов, что ли?», Нет, говорю, двенадцать, батя. Отец доволен — он сам хоро-

шо все помнит, но меня пытается — есть ли интерес к делу и соображение? Так, говорит, соломы возов пятнадцать будет, ну там мякина еще... Придется телку по боку. Овец тоже всех не прокормить, заколоть надо. Как считаешь, сколько нам посеять на лето? Мне, конечно, охота побольше. Тридцатки, говорю, две или три надо весной припахать. «Очумел! — сердится отец. — Рази нам с шестьюдесятьюнами справиться? Ни в жисть не осилить! Да и семян не хватит».

Кузин загасил в тарелке окурки, взялся за чай. Отхлебнув глоток, сказал:

— Вот видишь как?.. А теперь у нас с тобой хозяйство в сто, даже, может, в тыщу раз больше, а руки связаны. Без приказа сверху не имеешь права пальцем шевельнуть. Приказали зерно сдать под метелку — сдавай. А свиньи там или коровы пусть газеты читают. Если не хочешь остаться на бобах — клянчи комбикорм, плати за него бешеные цены, гоняй за триста километров машины. Скотину ты не имеешь права ни продать, ни резать. А если с голоду она сдохнет — ничего, акт подмахнул и все. Да что же это за порядки такие? И для чего, спрашивается, нас народ избирает?

Ковалев, затягиваясь папиросой, слушал с интересом, хотя Кузин не открывал для него ничего нового. Обо всем этом думано и передумано.

Брала досада, что тогда, во время совместной работы в «Кызыл Черю», он не сумел понять, что Кузин — думающий и за дело болеет, правда, болезнь эта приняла, кажется, резкую форму. А возможно, он не ошибся — Григорий Степанович тогда не был таким, шел, как он и полагал, по ветру. Ведь шесть лет уже прошло... А человек сегодня уже не такой, каким он был вчера, и завтра не будет таким, как сегодня. Диалектика...

Когда вышли на просторное крыльцо чайной, солнце уже скатилось за редкий кедр на горе. Его лучи, пробившись между стволов, румянили высокое блеклое небо с редкими клочьями легких облаков. Ветер, умаявшись за день, успокаивался.

— Ладно, до встречи. Конь тут у своих... — Кузин подал Геннадью Васильевичу руку. — Слушай, приезжай ко мне. Ведь ни разу не был? Поглядишь, как мы там, темные... Не пожалеешь, ей богу. Да, тебе силосу надо? Добрый, кукурузный... Могу одолжить, все одно останется. Только как ты его доставлять станешь?

— Было бы чего везти, — буркнул Ковалев, не веря ушам своим.

Черт знает! Тут скот дохнет, а у него силоса излишки. Или дурачит старик?

— Так приедешь?

— Можно и приехать.

— Когда?

— Да на этих днях.

— Все договорились. Давай руку! Поклон Марфе Сидоровне, Сянюшу, ну и всем остальным.

Когда последний домишко, низенький и подслеповатый, отодвинулся за спину, Игорь вдавил ногой в сено вожжи, засунул руки в рукава пальто и лег, подперев плечом дощатый задок саней.

— Н-но, давай, машина, поторапливайся!

Саврасый мерин покосил на ездока глазом и пренебрежительно крутнул жидким хвостом, точно хотел сказать: «Ишь, указчик! Попробовал бы сам по такой дороге»...

Дорога, действительно, как говорят, ни в санях, ни на телеге. Снега уже не было. Вместо него на обочинах и кое-где в ложбинах лежал лед, настолько заляпанный, что отличить его от окружающей грязи можно было лишь по гулкому цокоту копыт Савраски.

Долина наливалась темнотой, и все вокруг чернело, становилось неразличимым. Мороз, набирая силу, застеклил лужицы, схватил хрусткой коркой землю. Он непрестанно беспокоил Игоря, который все глубже втягивал голову в поднятый воротник, зарывался в сено.

Сани плыли, качались, как лодка. Игорь смотрел в изрешеченное звездами небо. Порою ему казалось, что вокруг никого и ничего нет, есть только один он, Игорь — и тогда ему становилось жутковато. Он подумал о человеке, которому, говорят, предстоит в скором времени полететь в космос. «Не вкусно, наверное, придется там, между звезд».

Вспомнился Олег Котов. Прошлый год, незадолго до окончания института, Олег поделился с Игорем своей обидой: «Два заявления отослал — чтобы в космос лететь. Молчат, как рыбы. Ни ответа, ни привета...» Игорь тогда сказал: «Я тоже, пожалуй, полетел бы, если бы знал, что благополучно приземлюсь». Он сказал, конечно, в шутку, но Олегу его слова не понравились — полез в пузырь. «Уж молчал бы!.. Живешь ты... ну, как тебе сказать?.. По-моему, сам не знаешь, для чего... Что значит одна жизнь по сравнению с миллионами, миллиардами жизней?»

Савраска, предоставленный самому себе, спешил под крышу, в стойло. Выбравшись на лед, он пускался в рысь. Сани закатывались, кренились, а Игорь, не отрывая взгляда от звезд, продолжал думать об Олеге Котове: «Вон как в газете расписали: «Смелое внедрение передового метода содержания свиней». Фанатик! Следует ли подобные «методы» превращать в цель всей жизни? А у Олега это цель. Зачем я обманываю себя? Да, и утешаюсь обманом... Сани с разгона влетели в грязь. Под полозьями захрустело, потом зачавкало, а через несколько секунд со скрипом заскребло да так противно, что Игорь весь передернулся. А Савраска пыхтел, тужился, стараясь скорее достичь мерцающих вдали огоньков центральной усадьбы.

Услышав далекий лай собак, Игорь весь встряхнулся, точно хотел выгнать из себя зябкую дрожь. Сейчас он сдаст коня — и в столовую. Неплохо бы сто граммов пропустить.

«Ох, Иваныч, умаял ты конягу. Вишь, в мыле весь», — такое непременно скажет ему конюх Аксеныч. Иначе старик не может. Бывает,

что конь совсем не устал, весь сухой, но Аксеныч все равно сокрушается, с охами и вздохами трет коня жгутом сена.

Аксеныч крупен в кости, сутул и так зарос буйными цвета вара волосами, что виднеются лишь глаза. Почти весь зрачок левого глаза закрывает пленка бельма, а правый, хотя и линялый, но бойкий, светится, будто уголек в золе. Зимой и летом на Аксеныче кожух. Он так обшарпан, замызган, что невольно появляется мысль — кто из них старше, кожух или его владелец.

Недавно, из случайного разговора со старухой-уборщицей конторы, Игорь узнал, что у Аксеныча два сына, люди «степенные, самостоятельные». По их настоянию Аксеныч лет пять назад ушел на пенсию, но вскоре опять вернулся на конюшню. Днюет и ночует там...

Игорь не ошибся — с дедом произошло все почти так, как он и думал. Только к привычным уже словам дед, хлопоча около коня, добавил:

— Говорил — в седле... Теперь самый раз верхи...

Игорь озлобился и молча вышел из освещенной конюшни.

В темноте он споткнулся о что-то, кажется, об оглобли саней, больно зашиб ногу и чуть не упал. «Питекантроп!.. Только нотации читать! Сам, что ли, таскал меня на отделение? Ведь понимает, пещерный тип, что не могу в седле. Потому и твердит... И все они так... Стараются подчеркнуть свое превосходство».

Игорь приостановился, думая, куда идти, в какой стороне чайная? Кажется, вон там, где машины урчат.

*

Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, что только ахнешь...

Игорь ждал, когда подадут глазунью и пирожки. В небольшом квадратном зале было тепло и, пожалуй, уютно, если бы не проезжие шоферы. Заняв весь передний угол, они, чумазые, в лоснящейся одежде, «заправлялись» так энергично, что стоял невообразимый гвалт.

Официантка несколько раз пыталась урезонить их, но они сводили все к шуткам и продолжали свое.

— Да посмотрите, что со скатертью сделали!

— Э, дорогуша, мы вот всю дорогу в мазуте, а ничего, и жены не обижаются.

Официантка отступилась, и сейчас же до Игоря долетели крепкие соленые слова. Игорь сжал тонкие губы, опустил голову. Его взгляд упал на чешские ботинки. Будто они и не его. Под грязью не видать даже крупных блестящих застёжек. За отворотами узких брюк тоже грязь. И всюду сенная труха нацеплялась. А жрать хочется так, что даже сосет. Провалились бы они там, на отделении! Столовой нет, а предложить пообедать ни один черт не догадается. А вот если бы кто-нибудь другой, директор, допустим...

— Скоро? Не быка жарите! — Он уже не мог сдержаться себя —

голос прозвучал настолько резко, что официантка обиженно дернулась и подошла к окну раздачи. Игорю стало неудобно. «Она-то при чем?»

Он взял в буфете сто пятьдесят и, возвращаясь к своему столику, извиняющимся голосом сказал:

— Тамара, я ведь без обеда... Вот и злой...

— Ладно уж... — улыбнулась девушка.

Смутно, почти подсознательно Игорь понимал, что причина его злости и недовольства собой не в голоде, не в грязи на ботинках, не в сенной трухе, не в шуме чумазных шоферов и даже не в ехидном ворчании волосатого конюха. Это все следствие. Причина глубже. Она там, на третьем отделении. Да и не только на третьем, а всюду — на каждом отделении. И здесь, на центральной усадьбе. Вот оттого и вся его жизнь в должности главного зоотехника такая мурорная, похожая на длительное наказание.

После приятного совмещения обеда с ужином Игорь почувствовал, что мороз окончательно растаял с его телом. Он закурил и, перемешав затажки сигареты «Диамант» мелкими глотками горячего чая, стал думать спокойней и, как ему казалось, обстоятельней. Все «предки» накуролесили. Старым чудакам захотелось иметь под боком чадо. Отец, как всегда в острых ситуациях, не остановился ни перед чем... А Тамара ничего, ножки немного не тае, кривоватые... Интересно, есть у нее кто или нет? Вот если бы уметь опускаться до их уровня, обладать даром перевоплощения. Нет, не получится, пожалуй.

Кажется, без всякой связи Игорь вспомнил Клаву. Дней десять назад его вызывали в райисполком. Выйдя оттуда, он в упор столкнулся на крыльце с Клавой. Она тихо охнула и, вспыхнув, опустила глаза. Он тоже глупо растерялся. Кто из них первым сказал «здравствуй»? Он только помнит, как спросил не своим голосом:

— Как живешь?

— Живу, — Клава подняла на него глаза, — работаю.

— И я работаю, — глупо сказал Игорь.

Клава постояла — очевидно, ждала, что он еще скажет. Он ничего не сказал. Она медленно прошла мимо, не спеша, с задержкой открыла дверь; глянула на него и захолопнула. Он рванул за ней, но тут же махнул рукой и сбежал к машине.

Потом он заехал к «старикам» пообедать и взять чистое белье. Отец был на работе, а мать, собирая на стол (от домработницы давно отказались), без умолку несла об отце:

— Крутится день и ночь и все без толка. Вместо благодарности — выговора. Хвоев все старается. Ненавистник! Так и съедает.

Это напоминало истертую, надоевшую до тошноты пластинку. Игорь, раздражаясь и злясь, прошел по комнатам. Ковры, плюшевые мишки, мраморные слоники, кружевные салфетки — все, что раньше, как ему казалось, создавало уют в квартире, теперь почему-то раздражало и злило. Игорь уже не раз пожалел, что заехал.

— Игорек, иди. Налила...

Игорь ел, а мать сидела рядом и все говорила:

— Этот самодельный зоотехник... Ну, Арбаева Клава... Показала себя. Ославилась на все село.

Игорь, опустив в тарелку ложку, выжидающе покосился на мать.

— Белендин-то один живет. Так она ходит к нему ночевать, — мать торжествующе поджала губы. — Ешь, сынок. Сейчас второго положу. Голодно там тебе. Что эти столовые? Знаю я...

Клава?.. Клава и Колька Белендин?..

— Давайте выметайтесь! — кричит на шоферов Тамара. — Рассчитывайтесь и уезжайте! Закрываем. Налижуются, а потом аварии всякие. Людей гробят, сами садятся.

— Тамара, — позвал Игорь.

Она подошла, вынула из кармана передника блокнот. Алая краска на губах слиняла, лицо серое, завялое.

— Да нет, я не рассчитываться. Чаю бы еще. Да присядь, потом... Устала?

— Знаете, как за день тут натолчешься? Ног не чувствуешь.

«Действительно... — участливо подумал Игорь, — а мне вот и в голову не приходило, что тут трудно. Я не выдержал бы. Возись со всякими...»

— А может, молока?..

Игорь вспомнил, как он днем бродил в коровнике, чуть не по щиколотку в жидком навозе, и на коровах всюду висели ошметки навоза.

— Нет, лучше чаю.

— И когда они только уберутся! Надоели как черти, — Тамара сунула в карман блокнот и сипловато прикрикнула. — Сколько раз говорить! Выдворяйтесь! Жены, поди, заждались.

За последнюю фразу моментально зацепился молодой одутловатый парень, сказал на цыганский манер:

— А я, красавица, одинок. Никогошеньки... Может, совсем притормозить, пожалеешь сироту?

— Все вы, окаянные, на один аршин — как за ворота, так и сирота! — крикнула из-за стойки пожилая буфетчица. — Мой вот тоже...

Шоферы дружно заржали, а Игорь снова задумался о своем. Неужели мать правду сказала о Клаве? Скорее всего — выдумка. Сама придумала.

— Вот народ! — возмущалась Тамара.

«Народ...» — мысленно повторил за девушкой Игорь. Бородатый, похожий на апостола Лев Толстой, лекарь Чехов, аристократ Пушкин и много всяких других переводили бумагу — все о народе писали. Восхищались мудростью, гуманизмом лаптежников. Со стороны-то хорошо восхищаться. А пожилы бы сами среди «народа» — не такое запели бы. Вот эти чумазые или волосатые Аксенычи, да и вообще все они, не терпят ничего инородного, непохожего на них. Им плевать на то, что человек полтора десятка лет до одури сражался с науками. Сотня, тысяча конюхов, доярок, скотников, заведующих фермами не знают того, что, допустим, знает один он, Игорь. Такое «народ» нисколько не смущает. Но они изведут насмешками, проглотят живьем, кто

не знает элементарного, что знают они, или даже того, кто оденется не так неуклюже, как они — «народ». Вот и с ним, Игорем, так получается... Сегодня доярки с удовольствием захихикали, когда он заметно вздрогнул и отступил при неожиданном рыке быка. Управляющий тоже улыбнулся, правда, не так откровенно. А чего, спрашивается, особенного в том, что он вздрогнул? Каждый с непривычки вздрогнет. Он как тот Амур из Московского зоопарка, даже коровник задрожал...

Шоферы, наконец, расплатились и гурьбой вывалились из чайной. Игорь тоже прикинул в уме, сколько с него причитается.

— Закрывай, а то будут лезть на огонь, — сказала буфетчица. — Без четверти десять...

Игорь внезапно почувствовал, что ему захотелось спать, даже глаза слипаются. Вот если бы, не выходя в холодную темноту, очутиться в своей маленькой комнатке, вытянуться на постели, уперев ноги в натопленную тетей Машей печку. Обычно Игорь в постели просматривает газеты, читает «Юность» или «Иностранную литературу», но сегодня он, конечно, сразу уснет.

Он отдал деньги и пошел. И тут, у самых дверей, когда всем его телом владело одно-единственное, казалось, непоборимое желание — спать, жизнь подложила ему такой сюрприз, от которого потом судьба Игоря чуть не повернулась на сто восемьдесят градусов.

Он, кивнув на прощанье Тамаре, отодвинул железный засов, но дверь открыть не успел — она до него широко распахнулась. Из темноты вынырнула на порог девушка.

— Закрыто!—вскинулась с отчаянием Тамара. Она хотела добавить еще что-то, но почему-то не добавила. Возможно, ее остановила необычно модная для далекого горного поселка одежда запоздалой посетительницы.

— Надеюсь, ничего не случится, если я возьму сигарет! — не спрашивая, а утверждая, сказала посетительница. Задев Игоря плечом, она, как ни в чем не бывало, решительно прошла к буфету.

Игорь возмутился. Вот фря, нахалка! Он, провожая взглядом незнакомку, старался для удовлетворения своего самолюбия найти в ней хоть какой-нибудь изъян. Шляпа здорово смахивает на немецкую каску... Короткая, не доходящая до колен дошка. Цвет шляпы и дошки такой, который не поддается определению. О нем обычно говорят: серо-буро-малиновый. Несмотря на холод и грязь, незнакомка самоотверженно держит фасон — капроновые чулки без единой морщинки впалялись в полные точеные ножки в черных, кажется, замшевых туфлях.

Игорь вынужден был отметить, что нахалка умеет демонстрировать свои прелести. Впрочем, ущемленное самолюбие сейчас же дало о себе знать, он подумал о том, что дерьмо, завернутое в красивую обертку, можно принять за конфетку. Много тут всяких наведывается. Наверное, жена какого-нибудь военного или старика-ученого прикатила похвататься перед подругами нарядами.

— «Друг» есть? Две пачки.

Что за наваждение? Он слышал этот голос. Да, и не раз слышал. Несомненно... Кто же она, черт возьми?..

Он наблюдал, как нахалка положила в круглую, похожую на колесо сумку сигареты, маленький на застежке-молнии кошелек и направилась к выходу. Белое, тщательно зашпаклеванное лицо ничего ему не сказало. А вот в кругловатых глазах было что-то знакомое. И с каждым шагом этого знакомого становилось все больше и больше. И она, кажется, признает его. Об этом сигнализируют ее брови, тонко выщипанные и начерченные. Они напряглись, потом радостно встрепенулись.

— Игорь!

— Нинка! — выдохнул Игорь.

Какое-то мгновение они жадно смотрели друг другу в глаза, потом Игорь стиснул ее свободную от сумки руку, а она снизу чмокнула его в щеку. Заговорили сначала растерянно, потом наперебой, совсем не думая о том, что существуют очень любопытные, как все женщины, Тамара и буфетчица.

— Удивительно!.. Вот уж не думала...

— Я тоже не думал... — Игорь непроизвольно тер поцелованное Нинкой место на щеке, точно та обожгла его своими лиловыми губами. Впрочем, это ощущение несколько не гасило радости встречи.

Первые трудности и неудачи самостоятельной жизни уже не раз вызывали у Игоря воспоминания школьных лет. То было счастливое время! Счастливое, в основном, потому, что тогда ему было восемнадцать, а не двадцать четыре, как теперь. Двадцать четыре тоже, конечно, немного, но тогда ему не требовалось ломать голову над тем, как поднять надон или кастрировать бычков. Да и плевал он тогда на всех Аксенычей, управляющих, доярок и скотников, которые, хотя в разной степени, но все похожи на чеховского Дениса Григорьева.

Он, весь сияющий, смотрел на Нинку и думал о том, что все это напоминает чудесное волшебство. Да, это не анахронизм, волшебство есть и теперь, в век ракет и атомной энергии. Вот зашла, сбросила с него шесть лет, завела в класс. Игорь совсем забыл, что тогда, в школе, не принимал всерьез Нинку, считал ее пустой, лишенной всяких способностей.

— Не пойму, как ты тут оказался? Такая яма...

— Прошу не оскорблять мои патриотические чувства. Я прописан здесь. И, кажется, надолго. Минимум на два года.

Нинка с досады притопнула тонким каблучком.

— Какая же я недогадливая! Ты окончил институт?

— Конечно...

— И баграчишь у моего старика?

— Тебе нельзя отказать в догадливости.

Нинка сложила губы трубочкой так, что за лиловой каймой обнажилась бледная полоска.

— Не завидую.

— Теперь догадливость переросла в новое качество — проникаемость.

Они расхохотались. Нинка, изгибая луки бровей, запускала стрелы лукавства, от которых у Игоря по-новому, со сладким нитьем билось сердце, и, то ли от водки, то ли еще от чего, он почувствовал себя совсем опьяневшим. Во всяком случае, у него приятно кружилась голова и все казалось простым и доступным.

— Что ж мы стоим?

— Двиствительно, — согласился Игорь, вспомнив «Плоды просвещения».

Нинка пьесы не читала, но понимающе рассмеялась и снова щедро израсходовала из своего арсенала стрелы лукавства.

— Пошли! Закрывайтесь! — сказал Игорь так, будто взлетел на крыльях.

Тамара сердито ударила ладонью по дверной задвижке.

— Директорова дочка, что ли?

— Похоже, — согласилась буфетчица, давно заметившая, что Тамара равнодушна к Игорю.

— То-то он и заюлил. Ну и одета, конечно, не по-нашенски. Вон как выпялилась! Доведись мне — так даже стыдно.

— А она стыд потеряла. Это я сразу поняла. У меня глаз наметанный. Вот поверь моему слову — опутает его.

— Ну и пусть! Жалко, что ли? Давайте закрывать. Каждый раз до полночи. Даже в клуб не сходишь...

— Выкинь ты все это из головы, — участливо посоветовала буфетчица. — Не по себе дерево рубишь. Надорвешься.

— А я ничего не рублю. С чего вы взяли? — в отчаянии вскрикнула Тамара и вдруг присела, ткнулась в подол фартука.

7

У Игоря Гвоздина началась новая полоса жизни, угарная и во многом непонятная. Забросив все дела, он целыми днями отсиживался в конторе, копался для видимости в каких-то бумагах, а сам всем существом своим нетерпеливо ждал вечера, когда он встретится с Нинкой.

Эти встречи порождали массу непривычных для него чувств и мыслей, которые часто сталкивались между собой, противоречили друг другу.

В тот первый вечер Игорь проводил Нинку до дома. Они долго болтали около калитки. Игорь прибежал в свою комнату вконец оконченевшим и возбужденным, взбудораженным. Вместо того, чтобы лечь в постель и согреться, он сновал в громыхающих, точно деревянных, ботинках по комнате, дул на ладони, прислонял их к теплой печке.

Если любовь — не выдумка сентиментальных барышень и романистов для прикрытия грубой физиологии, то она бывает разная. Вот Клава какая-то пресная и любовь ее такая... Корчила из себя святошу, а

сама как букварь для взрослого... Примитивная и скучная... И кончила тем, что связалась с Белендиным. Ничего финал!..

Игорь, присев на кровать, расстегнул и сбросил ботинки, схватился за пальцы. Ух, дьявольщина! Даже сквозь шерстяные носки чувствуется лед.

Он, не снимая пальто, повалился на спину, протолкнул между железными прутьями кровати ноги к печке. Вскоре крякнул от удовольствия. Золотой монумент тому, кто первым сумел добыть огонь! А почему, собственно, Нинку считали в школе пустой? Чушь! Очень даже содержательная. Чисто женский ум. Поболтать с ней одно удовольствие. И собой шик, не стыдно на людях появиться. Во всяком случае, с Клавкой не сравнить. Интересно, что она подумает, когда узнает о нем с Нинкой?..

Игорь давно уже утвердился в мнении (этому способствовали, главным образом, романы и заграничные фильмы), что всех женщин можно разделить на две, совсем не похожих одна на другую категории. Первая и самая многочисленная — бабы. Грубые, неуклюжие, они отлично сквернословят, с кроличьей скоропалительностью рожают сопливых и чумазных ребятишек, неряшливо варят для мужей щи да кашу и не хуже мужей справляются с делами в полях и на фермах. Вторая категория — настоящие женщины. Стройные, изящные, подобные Венере Милосской, они возбуждают, как искристое вино, и волнуют, как легкая музыка... И Нинка такая.

Вот тогда, в чайной, он чувствовал себя смертельно усталым и время от времени встряхивал головой, чтобы не заснуть на стуле. А как только они вышли на улицу, Нинка будто нечаянно коснулась его плечом и глянула ему в лицо. Глянула так, как умеет это делать только, наверное, она одна. При неверном свете прорвавшейся сквозь облака луны Игорь заметил в глазах Нинки по-шаловному прыгающие искры. И тут же он близко почувствовал ее дыхание, смешанное с дурманящим ароматом тонких духов. И от всего этого Игоря пронизало с головы до пят чем-то похожим на электрический ток. Сонной усталости как не бывало, а то, похожее на электрический ток, весь вечер бродило в нем, подобно молодому вину.

Когда они стояли около ее дома, Игорь был занят только одним — поцеловать Нинку. Она, хихикая, ловко уклонялась.

— Завтра встретимся? — прерывисто спросил он.

— Хи-хи... А разве есть необходимость? — лукаво в свою очередь спросила Нинка.

— Что за вопрос? — Игорь пропустил ей под мышки свои ладони и умолял, надеясь все-таки поцеловать ее губы: — Посмотри мне в глаза. Ближе...

— Хи-хи... Дипломат... Пожалуйста... Вот...

Расчет Игоря не оправдался — в последний момент Нинка опять отвернулась и он впился губами в ее щеку и, дрожа, весь загорелся от того внутреннего тока.

— Приходи в клуб. В восемь. Придешь?

Нинка, немного поломавшись, согласилась.

На следующий день, встретясь в фойе клуба, они не остались в кино. Игорь, не заинтересовавшись даже афишей, сказал, что картина старая, чепуховая, и они пошли, не зная куда, но лишь бы подальше от света и людей.

— Слушай, мы так и не поговорили как следует, — Нинка прижалась к Игорю. — Как ты чувствуешь себя в должности зоотехника?

— Прелестно.

— Нет, я серьезно...

— И я серьезно... Мне даже во сне свиньи снятся. Такие, знаешь... Сплошная грязь. Только пятаки чистые. А щетина вздыблена. Бр-р! — Игорь потряс головой. — Со страху я однажды так заорал, что разбудил сам себя. Всю жизнь думаю свинством заниматься.

— Ну опять ты... — с кокетливой плаксивостью протянула Нинка и слегка подтолкнула Игоря в бок. — Перестань балагурить!

— А что же теперь остается? — Игорь тяжело вздохнул. — Только балагурить... Черт меня дернул тогда полезть в этот институт! Сам не знаю, как...

Нинка мгновенно и сильно повернула Игоря к себе лицом.

— Зато я знаю «как»... ловелас!

Она покачала перед самым носом Игоря пальчиком. Спустила секунду, рассмеялась. В ее словах и, особенно, смехе Игорь ясно уловил угрожающе-хищные нотки. Его взяла обида, которая вскоре сменилась мстительной злостью.

— Ну знаешь, так знай... — буркнул он как можно безразличнее. — А вот о тебе разное говорят. И много. Этот, как его?... Ну, Сидор, что ли? — Игорь умышленно «запамятовал» Анатолия Сидорича Иванова. — Который директором раймага был. Отцу тогда досталось за него.

Нинка опустила голову и долго молчала. Игорь, косясь на нее, торжествовал.

— Да, я выходила за него, — виновато и жалостливо призналась Нинка. — По глупости... А знаешь — у китайцев есть пословица: «Плохой не тот, кто споткнулся, а кто дважды споткнулся на одном месте». А я второй раз не споткнулась. Дудки! Научена!

— Еще говорят — ты жила с каким-то геологом, — тихо, но с ядовитым ехидством заметил Игорь, не зная для чего. Пожалуй, Нинка сама тут виновата: так обидно намекнула на его прошлые отношения с Клавой. Какое ей дело?

— Чушь! Самая настоящая чушь! — возмутилась Нинка, хотя в самом деле жила с геологом. — И чего только людям надо? Они просто завидуют! Ведь я на них не похожа!

Нинка схватила его за рукав и увлекла за собой в полосу света, падающего из окна чьего-то дома.

— Вот смотри! Смотри на меня! Красивая? Скажи — красивая?

— Тише! — он обнял ее, оглянулся и закрыл своими губами ей рот. Потом страстно целовал в щеки, в нос, во влажные солоноватые

глаза. Запрокинув голову на его руке, Нинка, не открывая глаз, сказала между поцелуями с мягким укором:

— Глупенький... Я тогда из-за тебя... Не хотел замечать меня. А я назло.

Игорь, весь взволнованный, мельком подумал о том, что Нинка в школьные годы, кажется, в самом деле увлекалась им. И легко поверил ей.

Пройдя вперед по дороге, они вдруг обнаружили, что мороз и ветер — их злейшие враги.

— Я застыла, — призналась Нинка. — Ноги...

— Ты все модничаешь.

— Что же в пимы, что ли, залезть? Не хватало еще.

— У меня тоже ноги тает... Как чурки...

Они дошли до Нинкиного дома и встали за угол, в затишье.

— Вон моя пещера, — сказал Игорь. — Темное окно. Печка теперь горячая. А ключ вот, в кармане.

У Нинки как-то странно блеснули глаза, и она сказала:

— Чтоб сплетни добавились? Знаешь, как растрезвонят? Да и к чему?

— Да нет, я ничего, — поспешил оправдаться Игорь. — Я просто так... Нельзя, что ли, посидеть?

— Я больше не могу, — заныла Нинка, подсакивая с одной ноги на другую. — Пойдем к нам? Горячий чай. А у папки есть, кажется, коньяк. По рюмочке хлопнем.

— Что ты! — испугался Игорь. — Петр Фомич...

Нинка расхохоталась, схватила Игоря за руки и залихватски выбила перед ним чечетку.

— Ой, я и забыла — папка питается исключительно зоотехниками. Двоих уже съел...

Оборвав смех, Нинка заговорщицки сообщила:

— Папка добрый. Хочешь по секрету? Я из него веревочки вью. Как захочу — так и будет. Между прочим, о тебе он хорошего мнения.

Игорь искренне усомнился:

— Свежо предание, но верится с трудом. Незаметно...

— Точно-точно! Ой, больше сил нет! Пошли, Игорек.

Они долго еще целовались. Потом Нинка нырнула в калитку, а Игорь побежал в свою комнату.

В постели Игорь попытался читать, но очень скоро засунул под подушку журнал, потянулся через спинку кровати на стол за папиросами и спичками.

В окне ломилась ветром холодная ночь. Наружные стекла серебрились затейливыми узорами.

Игорь курил — из-за редких клочьев дыма призывно улыбалась лиловыми губами Нинка. И опять он вспомнил о Клавье. Он подумал, что с Клавьей он всегда чувствовал себя спокойно, не было мыслей об интимной близости. С ней он почему-то не смел даже думать об этом. А вот с Нинкой сразу пошла карусель, и он с трудом справляется с

собой. Наверное, годы сказываются?.. А, будь что будет! Зачем оглядываться? Во всяком случае мать успокоится. Осуществится ее заветная и назойливая мечта. А Клава пусть там с Белендиным... Или еще с кем... Какая разница?..

Он приказывал себе больше не думать о ней. И не мог, не мог...

* * *

Утром Игорь сел за свой стол в неуютной комнате, громко называемой кабинетом главного зоотехника. Задумался. С чего начинать день? Давно надо было съездить на третье отделение. Телята там дохнут. Но далеко... И погода отвратительная. Да и как ехать? Бородач опять скажет: «Верхи надоть». Но и тут нельзя уже больше отсиживаться. Петр Фомич обязательно доберется.. Лучше, пожалуй, поехать. Часам к шести вечера успеет вернуться. Сейчас он позвонит главному ветврачу и уговорит его поехать вместе на телеге.

Игорь только коснулся трубки, как телефон сердито брякнул и залился долго и требовательно. Игорь мгновенно отдернул руку. Влип, черт возьми! Не успел убраться!

— Гвоздин?

— Да, Петр Фомич.

— Чего же молчишь? Зайди!

— Хорошо, Петр Фомич, — пролепетал Игорь.

Он слышал, как там, в большом, отделанном с немалыми затратами кабинете Петра Фомича, упала на рычаги трубка, а свою он держал в руке и смотрел на нее так, будто старался угадать причину вызова. Сейчас тот выскажет «хорошее мнение».

Игорь бросил трубку. «Порадел отец! — взорвался он. — Поставил в дурацкое положение! (У него уже стало привычкой относить все свои неудачи по работе на счет отца). Новоявленный Остап Бендер! Без этого не может. В кровь и плоть вошло. На черта мне сдалась эта должность! Сам всю жизнь гонялся за должностями и меня...»

Еще в приемной Игорь услышал сквозь обитую дерматином дверь голос Петра Фомича. Он напоминал приближающиеся раскаты грома, и в комнате было мрачно, как перед грозой. Настороженная секретарь-машинистка регистрировала почту. Двое рабочих, ожидая очереди на прием, переглянулись. Один из них, в грязном дождевике, многозначительно подмигнул второму.

— Спустил барбоса...

Игорь, набравшись решимости, открыл дверь, и басовитый голос директора, подобно освобожденной птице, вырвался в приемную, полетел по коридору:

— Ты мне свои порядки не устанавливай! (Он всем, кто ниже его по должности, говорил *ты*). Со своим уставом в мой монастырь не лезь! Ишь нашелся указчик! Иди! Иди, я сказал! Рационализатор! Делай, что говорят!

За порог кто-то выскочил так быстро, что робевший Игорь даже не разглядел, кто это.

— Ну, а ты что в прятки играешь? — с хода переключился на Игоря директор.

— То есть как в прятки, Петр Фомич? — Игорь весь порозовел от смущения.

— А вот так!.. На первом был? Был. Что там? Почему не доложил? Ведь не на прогулку ездил?

— Да собственно... — Розовая краска на щеках Игоря мгновенно стусилась, захватила уши, шею. — Грязь там у них невозможная.

— Где грязь? На улицах, что ли?

— Зачем? В коровнике... Просто зайти невозможно. Коровы все в навозе.

— Там вечно так! Ну, а ты что? Полюбовался и укатил? Надо было за бока эту... как ее? Воронову. Сидит там, зоотехник!

— Она, Петр Фомич, в декретном...

— Угораздило... Будто нарочно подгадывают...

— Я, Петр Фомич, поговорил с управляющим. Довольно серьезно. Обратил его внимание на все непорядки. Грязь, значит, ну и все остальное.

— «Обратил внимание!» Да разве так с ними надо? Слова для них, что горох об стенку... Рублем надо бить, рублем! Загрязненность молока определил? Нет! Так зачем же, спрашивается, тебя туда носило?

Петр Фомич вдруг смолк, точно с разлета наскочил на непреодолимое препятствие. Отвернулся к окну.

— Ты, Игорь Иванович, извини, — сказал он мягко и даже виновато. — Да что стоишь? Садись. Вот пойдет с утра кутерьма...

Игорь, пораженный такой резкой переменой в директоре, осторожно присел в кресло.

— Ты ведь, кажется, куришь? Вот, пожалуйста, — Петр Фомич достал из ящика стола пачку «Казбека», открыл ее. — Тебе, Игорь Иванович, надо энергичней, смелей действовать. И не бойся никого. Пусть они тебя боятся. Ведь ты главный. Понимаешь — главный?!

Директор говорит и смотрит на Игоря. Смотрит так, как никогда до этого не смотрел, будто старается определить, пригодный ли товар, не с гнильцой ли.

— Да, а как ты устроился? Мне, сам видишь, все некогда. Тут, брат, не то, что в райисполкоме. Там все общее руководство, слова... Комната ничего, не холодной? Накажи, чтобы дров не жалели. Обедаеть, конечно, в столовой?

«Нинкины дела. Она постаралась...» — подумал Игорь.

И не ошибся.

8

Шесть лет спустя Геннадий Васильевич снова ночевал у Кузина. Его положили в горнице, большой квадратной комнате с трех окнами, на том самом диване, на котором ночевал он тогда. Вначале,

как только погасили свет, он пытался заснуть, но скоро понял, что не сможет. Он лежал с открытыми глазами и думал. Стоило чуть шевельнуться, глубоко вздохнуть — диван отзывался кряхтением и жалобными стонами. Состарился.

В окна, как и шесть лет назад, заглядывала луна. Заглядывала равнодушно, точно ее обязали свыше. Жидкий мертвенный свет проливался между листвой цветов на холодный пол. Цветов было много, как и там, в Шебавино. А вот книг он тогда не заметил. Теперь они стоят плотной шеренгой на этажерке, лежат вон на углу стола, на подоконнике. И радиоприемника, кажется, не было: обходились репродуктором.

Шесть лет — срок немалый, многое изменилось. Тогда он лежал на этом диване, полный всяких замыслов и намерений. Энергия кипела и бурлила в нем. Думалось тогда, что он все легко выправит и наладит. И он старался. Жилые дома, коровники, кошары, денежная оплата труда — все это объединило колхозников, окрылило их. Но он не сумел сделать главного — создать кормовую базу. А без этого, как на стрекоженном коне, не поскачешь. Сколько лет он бьется с кукурузой! Но тут ведь не как в степях: на южных склонах еще так-сяк, хотя немного, но вырастает, а на северных совсем пусто.

А бывает наоборот... Вот и угадай!.. Машины и орудия к горным условиям не приспособлены. Труда и средств затрачивается уйма, а получают с гулькин нос. Так главное и остается для него не решенным. А здесь вот, у Григория Степановича, это главное решают. И, кажется, неплохо выходит. Если новый сорт кукурузы действительно такой, как говорит Ермилов, горные колхозы и совхозы прочно встанут на ноги. Не сразу, конечно, но встанут. Ермилов, по всему виду, — человек необыкновенный, просто талант. Где его только старик выкопал? Изменился Кузин. Изменился так, что нынешний Кузин почти совсем не похож на прежнего. И откуда чего взялось? Забота о людях, смекалка, инициатива. А говорит! Прямо философ. Раньше все рывком, со злом...

Геннадью Васильевичу, после сытного угощения у Кузиных, захотелось пить. Он слегка повернулся — из-под бока вырвалась диванная пружина, загудела шмелем.

Ковалев долго шарился в кухне, стараясь найти воду. Включил свет. Попил и присел на широкую лавку. И сейчас же слегка скрипнула дверь боковушки — появился Григорий Степанович, в исподнем, в руке железная банка из-под зубного порошка, газета, спички.

— Не спится?

— Никак что-то...

— На новом месте. Я тоже не могу, когда на новом... — Григорий Степанович положил на стол табак, снял с плиты пимы, свои и Ковалева, нашел на вешалке полушубок и фуфайку. — Накинь, чтобы не застыть. — Сам набросил на плечи фуфайку. — На здоровье еще не в обиде?

— По всякому бывает...

— У меня тоже по всякому... Иной раз зачнет ломать всего. Ну,

старуха втупорож баню раскочегарит. Тут у меня по-белому... Пару навалом. Хочешь — завтра можно испытать? Теперь, поди, привык париться? В нашей сельской жизни без пару нельзя. Сергея вот никак не могу приучить... Хлипкий на это дело. И вообще он хлипкий.

Ковалев от бани отказался, сказал, что завтра надо непременно быть дома.

— Я вот не раз думал: какой-нибудь лень, никому не нужный, живет столько — аж всем глаза намозолит, — Кузин открыл банку, краска которой от долгого ношения в карманах вся стерлась и только по краям у самых ободков кое-где голубело. — А такие, как Сергей, смотришь — скovyрнулcя. И не удивительно — они ведь бескорыстные, к себе никакого внимания не имеют, вовремя не поест, не отдохнет, сколь положено. Думаешь, он теперь спит? Как бы не так! Сидит в своем кабинете. Лабораторией его называет.

Ковалев отметил про себя, что тогда, в чайной, Григорий Степанович говорил «коклетя», «шмицель», а вот «лаборатория», слово куда более трудное, произнес правильно.

— Старушку специально назначили, чтоб, значит, ночами топила там и чай кипятила. Чаю ему только дай! Продуктов малость со склада выписываем. Похоже, с желудком у него неладно. Предлагал на курорт — слушать не хочет, некогда, говорит. Хотел его к себе на жительство, чтобы под надзор Анисьи — ни в какую. Зачем, говорит, вам лишнее беспокойство?

Они закурили из банки махорки, и Кузин повел разговор так, точно перед этим подслушал все мысли Ковалева.

— После того, как столкнули меня с насиженного места, крепко задумался я. Положение аховское. Ребром все встало: или, значит, докажи, что ты можешь еще, или в распыл, в утиль. А старуха по ночам в ухо гудит: «Плюнь, Гриша, на все. Поработал — хватит с тебя. Проживем. Трудно будет — Алешка — сын, значит, — поможет». Меня от таких предложений всего корежит. Без дела, думаю, я в момент завяну, как вон какое ни на то растение, если его от земли отделить.

Кузин поискал глазами пепельницу и, не найдя, сбил пальцем пепел под лавку.

— С такими вот думками прикатил я сюда. Не успел пообвыкнуться — Хвоев наведалься. Потом зачастил. Как-то вот тут, за этим столом, пообедали, он и начал, так осторожно, издалека. Ну и как ты, говорит, Степаныч, намерен дальше действовать? — что мог я ему сказать? Ничего. А он: вот там ты один все тянул. Тут, возможно, воз немного полегче, но опять же один. Не годится так, говорит. С твоими годами и знаниями не выдюжить. Животноводство и полеводство надо ставить, говорит, на научную основу. Нужны тебе хорошие зоотехник и агроном. Вот тогда, где коренной сдаст, пристяжные вынесут. Мысль эта, скажем, не новая. Я ведь не консерватор какой-нибудь и сам часто подумывал о таком, но подумывал как-то мимоходом. А потом, сам знаешь, где их взять, специалистов? Чтоб, значит, не только диплом, но и голова была и любовь к делу. Да, ну а тут секретарь райкома пред-

лагает, сам хозяин. Схватился я обеими руками за его предложение. Давай, говорю, мне хорошего агронома, зоотехника и неплохо бы еще толкового механика. Машины тут запущены.

В рамке приоткрытых дверей неожиданно появилась Клава. В ко-со застегнутой юбке и старенькой кофточке, она, щурясь от света, поправила волосы.

— А я думаю, что за голоса. Приехал, что ли, кто?..

Ковалев стянул на себе плотнее полушубок, сунул ноги под стол. Кузин, сидевший к Клаве спиной, тоже подвинулся вместе с табуреткой к столу. Клава притронулась ладонью к огромной печке и со словами «теплая еще» встала к ней спиной.

— Насмотрелась я за день на Ермилова и даже досадно стало... Надо было идти на агрономический.

— Зоотехники тоже хорошие бывают, не хуже Ермилова, — рубанул, видать, особенно не задумываясь, Кузин и обидел Клаву. Щеки у нее вспыхнули, и она опустила глаза, но Кузин ничего не заметил.

— Ну, а как ты Ермилова к себе затынул? — спросил Ковалев с чуть излишней поспешностью.

— Сейчас... Дойдет очередь, — Кузин пододвинул к себе банку с махоркой, поставил на ребро, перевернул. — В общем, ничего такого конкретного тогда Валерий Сергеевич не сказал мне. Понял я только одно — самому надо проявлять находчивость. И начал я рыскать, как какой-нибудь голодный волк. Где только не был!.. И вот когда гнал обратно из Верхнеобска, встретил Сергея, Ермилова, значит. Сажу это в вагоне, а напротив — человек, волосатый, бледный, какой-то замученный. Достал я из чемоданчика провиант, чтобы закусить, а он вроде и смотреть не хочет, а глаза тянутся. Знаешь, как у голодных бывает?.. Предлагаю — отнекивается. Все-таки поел и понемногу разговорился. Спрашиваю: «Откуда едешь?». «Я? — и посмотрел так непонятно кругом, потом громко, с болью: — Я, говорит, из больницы, из Томска». Признаться, меня в жар бросило. Вот, думаю, напоролся. Ругаю себя: «Дурной! Пень старый! Раньше не мог понять. Его ж видно». Но ничего такого стараюсь не показывать. Спрашиваю: «А что так? Какое-нибудь тяжелое заболевание? Потрясения?». Он горько усмехнулся. «Нет, говорит, потрясения пришли потом. А угодила я в больницу потому, что думал и говорил не по вкусу нашему Притягину».

Кузин с громом бросил на стол банку.

— Сколь лет уж прошло, а я досе вспоминать, чтоб спокойно, не могу. В душе все на дыбы встает. Ты Притягина помнишь? Захватил?

— Слыхал. А встречать не приходилось. Из Оймана?

— Ну! Первым секретарем там был. Долго сидел.

— Да как же случилось? — удивленная Клава откачнулась от печки. — Что за болезнь?

— Вот именно, что никакой болезни. Совершенно здоровый. Взял и упек здорового.

Клава всплеснула руками.

— Да нет!.. Как же это так?.. Не может быть, чтобы здорового...

Ковалев нахмурился, оторвал от газеты на сигарку. Кузин открыл банку и тоже оторвал на сигарку.

— Это теперь не может, а тогда все могло... — Свернув сигарку, он старательно прослюнявил край бумаги и заклеил. — Тогда поначалу мне тоже подумалось, что не может, а потом разобрался. Сергей в совхозе главным агрономом работал. Старался все делать не по предписаниям, а так, как передовая наука подсказывала, чтоб, значит, большую пользу извлечь. Начал многолетние травы заменять бобами. Белковый, говорит, корм. От паров отказывается. Ну, Притягин и опрокинулся на него: «Своевольничаешь? Народные интересы нарушаешь? Горе-специалист! Не позволим!» А Сергей такой, что в долгу не остается. Ну и пошло у них, зуб за зуб. Директор совхоза не то чтобы защищать, а в кусты, думает, поди: «Вот навязали мне специалиста!». А Сергей как пленум, актив, сессия райсовета или там какое совещание — на трибуну. Требуется, чтобы агроному развязали руки. Агроном, говорит, хозяин земли, творец, а не писарь какой-нибудь и не собачка дрессированная, чтобы на задних лапках ходить.

Вот вскоре после одного из таких выступлений вызывает его к себе Притягин. А в кабинете у него уже два мужчины сидят. Врач, значит, и санитар райбольницы. Санитар — такой лбина, впору пахать. Но Сергей их не знал. «Вот он и есть самый Ермилов», — говорит Притягин. Врач так долго и пристально его всего обсматривал, потом спрашивает: «Как себя чувствуете?» «Ничего, говорит Сергей, обыкновенно». Врач свое: «Спите как?» Сергей отвечает: «Но до сна теперь: сев идет». «Значит, не спите? — Врач обрадованно затряс головой.

Сергей, конечно, взбеленился и давай отчитывать. «Что вы, говорит, пристаёте с глупостями? Я не мальчик, чтобы потешаться. А вы, товарищ Притягин, тоже участвуете в этой комедии? В вашем кабинете происходит...» А Притягину только этого и надо. «Ну вот, теперь сами убедились, — говорит он врачу и достает из стола бумаги. — Это, говорит, от дирекции совхоза, а это наше... Приобщите...»

Кузин повернулся, бросил в угол, к печке, окурочок.

— Вот так... Давайте ложиться. Два давно пробило.

— И долго он там был? — спросил Ковалев.

— Да месяца три, кажись. Как Притягина турнули — так поднялся шум. Этого самого врача за бока. В Томск отрядили, чтобы вызволял.

— За три месяца там по-настоящему можно было заболеть, — заметила Клава.

— А что такого? Свободная вещь... Он теперь как чуть что — так весь и дергается, — Кузин накрыл ладонью банку с махоркой. — Давайте спать! Иди, Клава. А то мы тут в таком виде...

Тетя Анисья устроила Клаву на ночь в комнате Васятки. Чтобы не беспокоить «медвежатника», Клава, не включая света, осторожно, наощупь пробралась к раскладушке.

Закрыв глаза, она подумала о том, что завтра предстоит каникулярный день, и решила сразу уснуть. Но не тут-то было! Вот уже в

горнице, где спит Ковалев, три раза ударили часы, потом за стеной загорланил петух, а сон все не шел.

Она думала: как же это так? Как можно беспощадно расправиться с человеком, с которым делаешь общее дело? Вот Ковалев взял бы и тоже так... Или Валерий Сергеевич... Докажи ты, если считаешь, что человек не прав. А не можешь, пусть тот докажет, убедит. Должно, Притягин свое самолюбие ставил выше всяких дел. А вместо сердца у него, конечно, камень.

Она, как ей показалось, совсем не кстати вспомнила Игоря, и ей стало досадно: к чему?.. Давно все прогорело и погасло...

После того приезда Игоря на летние выпаса они встречались редко и случайно. Как-то зимой — в Верхнеобске, когда Клава приезжала сдавать экзамены. Игорь предложил сходить в кино, но она сказала, что некогда. И у нее, в самом деле, не было свободной минуты. А он, похоже, обиделся.

Мельком встречались они и летом, когда Игорь приезжал на каникулы. И вот снова на днях... И всегда ей что-то мешало вести себя просто, непринужденно, допустим, так, как ведет она себя с Колькой. Было такое чувство, будто они отгорожены друг от друга невидимым забором. И этот раз она ждала — он что-то скажет, а сама ничего не спросила. Вот его сразу главным назначили. Интересно, как он там? Коров-то теперь не боится? Э, что о нем голову ломать? Не к чему... Давно у него кто-нибудь есть.

* * *

Кузин, Ковалев и Клава шли серединой улицы. Кузин шагал размашисто и твердо. Под его большими яловыми сапогами хрустел жесткий, схваченный морозцем снег, звякал ледок.

— Сегодня, видать, развезет,— Кузин огляделся кругом.

Из труб домов струились прямые столбы дыма. За темным кедром, справа на пригорке, всходило солнце, и все небо там было золотисто-розовым. Ослепляюще плавилась стекла в окнах, розовели скаты крыш, подернутые за ночь легким куржаком. А из распадков и леса еще кралась огородами и переулками синеватая колючая дымка.

— Что-то машин долго нет, — забеспокоился Ковалев.

— Придут, — сказал Григорий Степанович. — Вы, значит, соломой притрусите, потом брезентом, чтобы на ходу не схватило. Силос удачный, два дня как открыли...

Где-то впереди звучно тяпнул топор. Тяпнул еще раз и смолк, будто прислушивался к своему голосу. И вдруг топоры зачастили наперебой, но каждый по-своему. Заглушая их, взвизгнула и запела циркулярная пила.

— Насчет кукурузы Валерий Сергеевич сказал — сам распределит. Но гектара на два-три выделит,— Кузин покосился на Ковалева.— Мало? Больше не можем. Участок выбирайте самый что ни на есть лучший. Знаешь, за Волчьим логом, выше ручья?.. У вас что там? Нет,

лучше, пожалуй, если Сергей сам приедет. Он почву на анализ возьмет и в соответствии с этим агротехнику установит.

— Да, так лучше, — согласился Ковалев, не придавая значения покровительственному и даже поучающему тону Кузина.

Клава тоже одобрительно кивнула. Ей очень захотелось, чтобы Ермилов приехал в Шебавино.

Встречные то и дело здоровались с Кузиным. Пожилые мужчины почтительно приподымали над головой шапки. Кузин отвечал громко, называя одних по имени, других по имени и отчеству. Некоторые просили Григория Степановича на минуту задержаться, которых он сам задерживал, что-то приказывал и объяснял, а потом широкими поспешными шагами догонял Ковалева и Клаву. Чувствовалось, что Кузина здесь уважают и беспрекословно подчиняются ему.

— Да, как тебе наше животноводство? — спросил Клаву Кузин после разговора со встречными колхозниками. — Лучше вашего?

— Корма есть, значит, лучше. А с породностью не очень... Мелкий скот, неважный.

— Да, это так, — согласился Кузин. — Племянную работу ведем. Но ведь не сразу. Дело такое...

— Я вот как-то попыталась определить себестоимость молока и свинины. Помните, Геннадий Васильевич, после того разговора в конторе? Измучилась. А у вас учет хорошо поставлен. Надо, Геннадий Васильевич, и нам кормовой баланс, чтобы все как в зеркале...

Ковалев сердито взмахнул рукой.

— И так как в зеркале. Без кормов много не набалансируешь и себестоимость не снизишь. — Он повернулся к Кузину. — У вас мясо себе в убыток идет?

— Пока в убыток, — подтвердил Кузин. — Мы пока на меде выезжаем. Около четырех тысяч ульев. Тут раньше, при единоличной жизни, все поголовно пчелами занимались. Самый худой мужик держал, говорят, колод семьдесят. Выгодное дело — и мед дают, и себя кормят. Но мало кто понимает это. Пчел почти перевели.

Они зашли в контору.

— Заглянем к Ермилову, — предложила Клава.

— Зайдем. Он мне нужен.

Кузин толкнул первую от своего кабинета дверь. Пожилая женщина мыла пол. В печке жарко полыхали красные лиственничные дрова.

— Здравствуй, Ильинична! А где Сергей Осипыч?

Женщина выпрямилась посреди пола с мокрой тряпкой в руке.

— Сергей убежал. Давно убежал. Проходите вон на чистое. Я сейчас домой.

Они перешагнули на чистую половину комнаты.

— Куда же он умчался? — думал вслух Кузин, осматривая издали стол.

Клава тоже внимательно присматривалась ко всему. «Лабораторией его называет», — вспомнила она слова Кузина и согласилась: кабинет действительно больше смахивает на лабораторию.

Почти весь простенок между двумя окнами занимал стол. На толстых точеных ножках, приземистый от множества ящиков и огромный, как футбольное поле, он был явно тесен хозяину. На черном дерматине лежали то небрежными пухлыми стопками, то отдельными листами бумаги, исписанные крупным скачущим почерком. Вперемежку с бумагами — книги, некоторые из них раскрыты. А на углу, сбоку от старенького чернильного прибора из камня, — недопитый стакан чая, несколько початков кукурузы, большая пепельница, забитая до отказа окурками. На другом углу стола — тоже початки кукурузы, горка пшеницы, кубик черной земли, пронизанный тонкими, как нити, корнями.

Уборщица уже протерла под порогом и взяла ведро, чтобы уйти, когда Григорий Степанович сердито схватил со стола пепельницу и выбросил в печь окурки. Уборщица смутилась.

— Не велит подступаться к столу. Ни в какую... Пол-то мыть не дает. Это уж вот он убежал — так я скорей, скорей... Ты, сказывает, устрой мне винегрет. У меня все на своем месте. А какое уж тут на своем, — женщина рассмеялась, взмахнула тряпкой.

— Спал тут? — спросил Григорий Степанович.

— Тут, на диване вон свернулся калачиком, полушубок на себя... А сидел за полночь, кажись, часов до трех.

Клава обошла стол, потрогала в углу сноп кукурузы, который поблекшими листьями упрямо упирался в потолок. Под окнами, позади стола, стояла низкая и широкая скамейка, которую Клава вчера вовсе не заметила. Эта скамейка, очевидно, была центром «лаборатории» Ермилова. Штативы с пробирками, колбы различных размеров, опять кубики земли, кукуруза, зерно, маленькие листки бумаги с какими-то записями беспорядочно и тесно соседствовали на лавке.

— Вот тут он и колдует, — заметил не без гордости Григорий Степанович, видя, как заинтересованно Клава рассматривает все. — Состав, значит, почвы и все такое... Он глазу не особенно доверяет, все анализом...

Кузин хотел сказать еще что-то, но не успел: дверь стремительно распахнулась.

— Григорий Степанович, буду ругаться! — Ермилов влетел на середину комнаты. Не замечая ни Клавы, ни Ковалева, он уставился возмущенным взглядом на Кузина. — Вынужден ругаться. Да! Да!

— Сергей Осипыч! — Кузин с укоризной показал глазами на гостей. Ермилов мигнул белесыми ресницами, буркнул «здравствуйте».

— Вот опять без шарфа, — Кузин взял Ермилова за полы распахнутого полушубка, но тот сейчас же сердито вырвал их.

— Не надо, Григорий Степанович. Зубы не болят... Почему на пятое поле навоз не вывозят? Два дня как договорились... Так не пойдет! Нет!

— Вон ты о чем... — Кузин натянуто улыбнулся. — Вывезем. Сказал — вывезем, значит, вывезем. Двадцать первый я тогда в лес отправил. А вот завтра...

— Не надо завтраками кормить, Григорий Степанович. Я уже рас-
порядился... Двадцать четвертый на ферме... Грузят.

Кузин крикнул с досады, но нашел силы смирить себя.

— Послал — и хорошо. О чем разговор?.. Я же не враг какой?

Ермилов улыбнулся, отчего на лбу и у глаз обозначились морщи-
нки. Сбросив на диван полушубок, он, худой, костлявый, зашел за
стол, начал копаться в бумагах. В его походке и в движениях «музы-
кальных» пальцев — нервная торопливость. Чувствовалось, человек
всегда спешит, ему никак не хватает времени и потому все в нем все
время кипит, трепещет нетерпением.

— Чем занимался, что опять тут ночевал?

Ермилов, будто не слыша, продолжал копаться в бумагах, потом
вдруг поднял голову. Глаза его зажглись мягким зеленоватым огнем,
от которого всем стало тепло и пропала неловкая скованность, вызван-
ная только что происходившим резким разговором. — Будешь сидеть,
если жизнь человеческая такая короткая, а сделать хочется много... Да,
кстати, Геннадий Васильевич и вы, Клава, сколько, по-вашему, можно
взять, допустим, пшеницы с гектара?

— Это смотря где, — заметил Григорий Степанович. — Какие, зна-
чит, земли, какой год?

— Земли самые наилучшие. Солнце и влага...

— Ну тогда, — Кузин взглянул на Ковалева, — тридцать и даже
больше...

— Берут до сорока центнеров, — уточнил Ковалев, — не тут, у
нас, конечно...

— Сорок? А вот если двадцать тысяч центнеров с гектара? И три
таких урожая в год?

Кузин хмыкнул и отступил, а Ермилов хлопнул ладонями по столу
и по-детски звонко расхохотался.

— Смотрите! Смотрите! Он думает — я второй раз спятил, теперь
по-настоящему.

— Да нет, я ничего... — смущенно оправдывался Григорий Степа-
нович, хотя в самом деле такая мысль сразу стрельнула в голове.

— Так вот, — посерьезнел Ермилов, — это вполне реально.
Такой урожай будет в самом недалеком времени. И почв не надо, и
солнца: под землей, где-нибудь в выработках шахт.

Ермилов заводчивался, вскочил из-за стола, взмахнул руками.

Его рассказ напоминал Клаве какое-то чудесное горение. Вот так
бывает темной ночью в лесу. Идет человек чуть ли не на ощупь, споты-
кается. А потом вдруг вспыхнет яркий огонь и человек видит далеко-
далеко...

Что-то похожее случилось и с Клавой.

Оказывается, ничего фантастического... Все дело в маленьком при-
борчике, который должен определять нужное для растения количество
питательных веществ, тепла и света. И если всем этим растение посто-
янно обеспечивать, кормить досыта, как выразился Ермилов, получится

сказочный урожай... И никакой зависимости от природы. Все пойдет как на фабрике. Поточное производство зерна...

...Когда пришли машины, Клава села в кабину, чтобы ехать на погрузку силоса. Она с горечью думала: «Никакой я не специалист! Так, размазня... Больше думаю о своем, чем о работе. Замуж вот собралась... И вообще...»

9

Хвоев остро воспринимал окружающее, точно видел все впервые. Причиной тому была либо длительная болезнь, либо, быть может, то, что весна круто, по-хозяйски взяла власть в свои руки.

— Ты особенно не гони, успеем, — попросил Хвоев шофера, а сам, чуть шурясь, посматривал вперед и по сторонам.

Дорога то прижималась к реке, ласковой, впитавшей в себя краски неба и гор, то круто взбегала, ныряла за увал. На лугах и склонах паслись овцы и коровы. Овцы жадно и ловко щипали короткую сочную траву. Толстогубым же коровам молодая трава доставалась как деликатес. Им приходилось пока довольствоваться ветошью — сухой и грубой прошлогодней травой. У коров остро выпирали ребра, и все они еще были захлюстаны бурым зимним навозом.

«Ничего, ничего, поправимся», — подумал Хвоев и проводил взглядом уток, которые сорвались со скрытого лозняка плеса.

— Валерий Сергеевич! — заволновался шофер.

— Ладно, Миша. Пусть...

Они только что побывали на стоянке Чмы и Бабах. Там было мирно и даже как-то празднично. Двухлетняя девчушка забавлялась у порога заново перестроенной избушки с ягненок. Тут же лежала крупная, вся в клочьях вылезавшей шерсти собака. Она так разомлела под ласковым солнцем, что поленилась вскочить и залаять на приехавших. Лишь на секунду приоткрыла глаз, глянула на Хвоева и опять уснула. Валерию Сергеевичу стало смешно. Он сказал с укором:

— Невыполнение служебных обязанностей? Халатность?

Отара паслась недалеко, и Валерий Сергеевич в сопровождении маленького Эркемена не спеша пошел к ней. Бабах обрадовался Хвоеву. Сам секретарь!.. Не ко всем он приезжает. Бабах суетился, много говорил, потом совсем некстати бросился заворачивать отару.

— Что-то, Бабах, у тебя грубошерстных многовато.

— Осенью, товарищ Хвоев, грубый овечка была совсем мало, а эта самая, тонкий, много. А вот зима прошла — грубый овечка больше стал.

— Почему же так? — не понял Валерий Сергеевич.

— Тонкий овечка, понимаешь, пропал, а грубый остался. Потому много стал. Слабый тонкий овечка, чуть, понимаешь — все! Когда зима хороший — она ничего: кошар теперь теплый. А такой злой зима — плохо, корм надо.

Хвоев слушал и согласно кивал головой, потом спросил:

— А вот ты слышал, Бабах, овечек силосом кормят?

— Силос? — Бабах, озадаченный, поправил на голове свою меховую шапку. — Нет, товарищ Хвоев. Как она будет кушать силос? Она замерзнет.

— Кормят, Бабах. И мы, должно, скоро кормить будем. Вот разведем кукурузу...

Когда они пили в избушке жирный подсоленный чай, Валерий Сергеевич спросил:

— Ну, а водкой теперь совсем не балуешься?

— Почему не балуемся? Балуемся, когда там эта праздник иль шипко холод.

Чма, наливавшая из котла чай, заметила:

— Водка не мешает. Давно не мешает. А вот зимой, товарищ Хвоев, плохо было.

— Да, тогда плохо был, — кивнул Бабах.

Чма с хитрой улыбкой поставила перед мужем наполненную чочойку*.

— Ой, товарищ Хвоев, Валерь Сергеевич, он все время кричал тогда, ругал, кулаком, понимаешь, сунул, вот сюда, — Чма приложила руку к щеке, прикрыв розовую полоску шрама — память о схватке с рысью, а в уголках раскосых глаз прыгали незаметные для Хвоева лукавинки.

— Это ты что же, Бабах, расхотелся? — в голосе Хвоева строгость. — Вот уж не ожидал. Человек ты известный. Да. А жена тем более...

— Товарищ Хвоев, она тоже кричал и бил. Честна правда, бил... Овечка дохнет, она кричит, я кричу, я кулаком сунул, она сунет... Честна правда!..

— А теперь?

Бабах глянул на жену, и оба заулыбались.

— Зачем теперь? Теперь хорошо. Овечка вон травка кушает, маленький барашка играет.

— Постараемся, чтобы следующую зиму вы жили дружно, не ругались и не дрались.

— Надо, товарищ Хвоев, обязательно надо, — закивала Чма. — Может, корм совсем не потребуется, а вот если опять такой зима...

— Такой зима — лучше не жить, — Бабах тяжело вздохнул и жадно отхлебнул чаю.

...«Газик», старенький, избитый и забрызганный грязью чуть не до самого тента, тоже старого, седого, изъеденного солнцем, исхлестанного дождями и ветрами, трудился старательно и упорно. Под уклон он был резв до того, что, казалось, вот-вот взбрыкнет, а в гору тужился, кряхтел, но, в конце концов, благополучно добирался до вершины и там облегченно вздыхал.

Река ушла вправо, а слева открылась просторная долина. Ее поло-

* Чочойка — чашка.

гие склоны редко утыканы мрачными серо-зелеными валунами, навечно вросшими в землю. Сегодня валуны напомнили почему-то Хвоеву айсберги; хотя море и айсберги он видел только в кино. Кое-где виднелись березы с лопнувшими почками и мелкий кустарник, подернутый легкой и прозрачной, точно дымка, зеленью.

— Владенья Петра Фомича, — сказал шофер, не оглядываясь.

«Как он тут хозяйничает? — подумал Валерий Сергеевич. — Сводки говорят, что он ничего не изменил. Надои плачевные»...

Хвоев укорил себя за то, что после назначения Грачева директором только раз побывал в совхозе, да и то налетом, не вникая в деятельность нового руководителя.

Внизу около дороги показался зеленый вагончик. От него тянулась, пересекая низину и уходя в гору, черная полоса, по которой упрямо карабкался вверх трактор с агрегатом сеялок и борон. Второй трактор с прицепными сеялками и боронами замер в конце загонки. Рядом виднелись дрожки с железными бочками, тут же, прямо на земле, стояли прислоненные друг к другу мешки с семенами, а чуть в стороне паслись кони.

— Подверни-ка.

Валерий Сергеевич, в поношенной тужурке и грубых высоких сапогах, выбрался из машины, потоптался, разминая затекшие ноги. Безлюдие и тишина. Солнце греет, откуда-то сверху, из прозрачной синевы жаворонок влетает серебряную нить звона в гул удаляющегося трактора. Пахнет прелью земли, молодой зеленью и еще чем-то бодрохмельным и грустным.

— Это что же? Возможно, в вагончике есть кто? — Хвоев грузно встал на ступеньку, заглянул в распахнутую дверь.

На нарах сидели двое: один лет восемнадцати, курносый, в сдвинутой на затылок шапке с отвисшими, как вялые лопухи, ушами; второму, видать, давно перевалило за тридцать. С неделю небритая рыжеватая борода забита грязью, в зубах — «козья ножка». Щурясь от едучего дыма самосада, он косится в карты.

Старший первым увидел Валерия Сергеевича и, ловко свернув веер карт в ладонь, спрятал руку под полу наброшенной на плечи фуфайки.

— Ходи, дядя Яков, давай ходи! — требовал паренек, но тут же повернулся к Хвоеву и заморгал растерянно.

— Это что же, товарищи? Такое горячее время, сев, а вы в карты? А что нам? У нас вон все стоит. Вот и режемся в дурака. Значит, я хожу? — Старший демонстративно шлепнул замасленной картой по еще более замасленному нарам. — Мы и сами бы рады... Какой интерес? За карты не платят.

— Трактор поломался? — спросил Хвоев.

— Нет, все исправно. Тузом ударил?.. Тракторист заболел. На туза! Думаешь — жалко?.. А напарник сбежал.

— Взял я, — сказал молодой и сгреб все карты. — Позавчера

директор приезжал. Такой тут тарарам устроил. Ну, Алешка и подался домой. Бригадир уговаривает. Только вряд ли... Алешка — он упрямый...

— А вы не из райкома? — поинтересовался старший. — То-то, смотрю, лицо знакомое. Были вы у нас, только давно.

Валерий Сергеевич прошел пашней, посматривая, нет ли обсевок, покопался в земле, интересуясь глубиной заделки семян. Вернувшись к машине, сказал шоферу, который, положив голову на руль, дремал.

— Поехали, Миша, на отделение.

Спустя каких-нибудь полчаса, он зашел в контору отделения, но там никого не было.

— Вот только что был, — сказал дряхлый старик, который, видать, от нечего делать уселся под солнцем на обрезок бревна и не спеша попыхивал сигаркой. — Должно, в мастерские подался. А может, еще куда... Дорог у него много. Все требует догляда, особенно теперь...

Валерий Сергеевич сел в машину. Шофер уж включил скорость, чтобы ехать к мастерским, как из-за угла вывернулся невысокий человек в зеленой и длинной, чуть не до колен, фуфайке кирзовых сапогах и старенькой кепке блином. Махнув шоферу, чтобы тот задержался, он быстро подошел к машине, заглянул в кабину.

— Товарищ Хвоев? Валерий Сергеевич?.. Здорово изменились! Не узнаете?

Хвоев растерянно смотрел в худое лицо с утиным носом и маленькими живыми глазами. Человек загадочно улыбался — ему, видать, было приятно от того, что Хвоев не может сразу его узнать.

— Подожди, подожди... — бормотал Валерий Сергеевич, открывая дверцу и выбираясь из кабины. И вдруг вскрикнул: — Степанюк? Ефим! Кажется, Александрович!

— Точно! Он самый...

Они обнялись и поцеловались. Возле крупного Хвоева Степанюк, маленький и щуплый, казался подростком.

— Откуда взялся? Ведь ты где-то в Воронежской области жил?

— Точно, Валерий Сергеевич, жил там, а потом вот сюда переехал. Сын у меня тут, в геологии, в партии. Нахвалил здешние места — вот мы и подались. Полгода, как уже тут. Слыхал, что секретарем тут Хвоев. Думаю, надо узнать, уж не тот ли, не Валерий Сергеевич. Да все недосуг было. А потом, думаю, не может быть. Мало ли однофамильцев...

— Ты не управляющим ли здесь?

— Точно, Валерий Сергеевич. Сосватал меня Грачев. Третий месяц...

Остаток дня Хвоев провел на отделении и здесь, у Степанюка, записывал.

Когда сели ужинать, хозяин поставил на стол бутылку коньяка. Хвоев запротестовал:

— Ты, Ефим Александрович, уволь, нельзя мне, ни капли. Сердце, понимаешь... Да...

— Нельзя так нельзя... Я ведь тоже не падкий на это. Сам знаешь... — Хозяин без всякого сожаления отставил на подоконник бутылку.

До часу просидели они за столом, пили чай, вспоминали фронттовую жизнь.

Встретились они в сорок втором при формировании запасного полка. Старшего лейтенанта Хвоева назначили тогда командиром роты, в которой уже хозяйничал старшина Степанюк. О старшинах во время войны в шутку говорили, что любого из них можно без следствия и суда сажать в тюрьму, дескать, никто из них охулки на руку не кладет.

И Хвоев, побывавший на фронте, выходил из себя, когда слышал или замечал обкрадывание солдат. Вот почему Хвоев поначалу относился к Степанюку настороженно, с недоверием.

Но как только выехали на фронт, сомнения Хвоева развеялись. На длительном марше или в самом жарком бою, когда невозможно поднять головы, солдаты своевременно получали и горячую пищу, и «стограмм», и махорку. В других ротах нет, а Степанюк доставит. Сам приползет на передовую с термосами, но доставит. И все по норме, грамм в грамм — столько, сколько, как говорили тогда, нарком отпустил. Солдаты все старания старшины принимали как должное. А после того, как ранило старшину — стали сожалеть. Нет обеда — у них разговор: «Александрыч, тот не оставил бы голодным». «Да, тот понимал, как воевать с пустым брюхом иль без махры». Хвоев тоже не раз вспоминал Степанюка добрым словом, ставил его в пример новому старшине...

— Здорово, Александрыч, тебя тогда стукнуло! Ты что после этого, домой?

— Какой там домой, Валерий Сергеевич! После того я в артиллерии был, потом у танкистов. Еще два раза ранило. Я ведь весь избит, места живого нет. Теперь вот детей до дела довели, пенсия идет, хотя и небольшая, но идет. Можно бы и сидеть. Так нет ведь, не сидится. Затесался, видишь вот, в управляющие. Близок локоток, да не укусишь...

— А что так? — насторожился Хвоев.

— Да так.. Ни к чему мне это с моим здоровьем. И годы уже немалые. За полсотню перевалило.

— Ефим Александрович, ты так говоришь, будто мы впервые встретились, будто вместе и не воевали, — от обиды голос Хвоева звучал глухо и чуждо.

Степанюк обеспокоенно задвигался на стуле.

— Нет, Валерий Сергеевич, не пойми так... Я человек тут новый, не разобрался еще что к чему.

— Сколько мы не видались? Семнадцать лет?

— Кажется, так. В сорок третьем меня первый раз ранило. Двадцать седьмого сентября...

— Вот не видались семнадцать лет, а встретились — начинаем виражи строить.

— Да не то, что виражи... Ну да ладно! — Степанюк прихлопнул ладонью по столу и решительно заявил: — Не могу я так, Валерий Сергеевич, не привык. И не привыкну. Точно говорю... Вот ты давеча интелесовался, почему трактор стоит. Теперь он работает. Это точно! Но сколько мне пришлось поморочиться, чтобы он заработал. Этот Алешка — парень с секретом, как вот раньше сундуки у кулаков... Помнишь?

Хвоев кивнул.

— Помню, как же... Железом окованные и где-то там кнопка...

— Точно! Вот и у Алешки где-то похожая кнопка, должно, имеется. С норовом парень. Трактор знает не хуже, чем кадровый солдат винтовку. Работать возьмется — удержу нет. А с напарником своим, Васькой, будто сведенные. Из-за пустяка поцапаются. Даже до драки доходило. Пробовали их развести по разным машинам — ни тот, ни другой не соглашается. Выходит, вместе тесно, а врозь скучно. Ну, а позавчера у Васьки рука разболелась. Разнесло всю. Просит он своего напарника, чтобы поработал. А тот ни в какую, уперся, как бык. Бригадир около него и так и эдак, а он знай свое: «Не обязан... Знаем мы эти болезни». Он бы, конечно, покуражился и согласился. Но тут, откуда ни возьмись, директор. «В чем дело? Почему трактор стоит?» Бригадир в горячах и бахни ему все как на духу. Так, мол, и так. Грачев сейчас же в вагончик. Выгнал оттуда всех и кричит Алешке: «Иди сюда!»... Что они там говорили — я не знаю. Но, рассказывали, Алешка вскорости вылетел из вагончика весь красный, как из парной. Пошли вы, говорит, все к такой-то матери!.. Не крепостное право, чтобы со мной так... Федька! — это он к пареньку-горючевозу, — поедешь на отделение, захвати мою постель. А сам напрямик, через гору — домой. Прибежал ко мне с заявлением. Не уволишь, толкует, уеду так... Мне плевать! Не позволю, чтобы со мной обращались по-нагульновски... Я этого чертяку Алешку нисколько не оправдываю. Но и директору нельзя так... Он во всяком деле через коленку ломает. Нахрапом. Никакого уважения к человеку. Вот потому я, Валерий Сергеевич, и не рад, что взял на себя такую обузу... Признаться, мне тоже перепадает. Да и народ жалко.

Хвоев сидел напротив Степанюка. Облокотясь на стол и подперев ладонью щеку, он все время внимательно слушал. А тут вдруг встал и, большой, грузный, взволнованно затоптался по тесной горенке.

Степанюк, следя за гостем, обеспокоенно подумал: «Дернуло меня на чистоту... Похоже, не зря поговаривают, что Грачев — дружок первому секретарю. А наша дружба что? За семнадцать лет она заржавела, забылась».

— Может, Валерий Сергеевич, чайку еще?

— Нет, спасибо. Я на воздух...

Пригнувшись, Хвоев шагнул через порог в сени, сбросил крючок.

Темная весенняя ночь дохнула в разгоряченное лицо сырой прохладой. И от этого легче стало в груди, но мысли не успокаивались. Опять! Опять он промахнулся... Дьявольщина! Сколько таких прома-

шек! Выходит, Татьяна Власьевна была права? Она тогда сказала, что не верит в Петра Фомича. Ей, конечно, лучше знать, она жена. А он вот поверил ему. Да... Поверил. Да и как не поверить, если Грачев работал управляющим отделением, председателем колхоза...

За спиной скрипнула дверь и послышался осторожный голос Степанюка:

— Валерий Сергеевич, в пиджачке-то простыть недолго. Весенняя сырость — она вредная. Точно!

— Да, пошли спать, — сказал Хвоев.

Утром за завтраком Валерий Сергеевич был хмурым. Не притрагиваясь к глазунье и блинам, он попросил стакан густого чая. Пил его молча, горой нависая над столом. «Что с ним? Чем не угодил?» — терялся в догадках Степанюк, пытая исподтишка гостя взглядом. И тоже молчал.

Вот Хвоев встал, оделся и подал хозяину руку.

— Спасибо за гостеприимство. Рад, что встретились, Ефим Александрович. Одно мне не понравилось — взял ты вчера под сомнение нашу боевую дружбу. Извини, я человек откровенный... Времени, конечно, много прошло, но все равно...

— Да что ты, Валерий Сергеевич, — Степанюк засуетился около Хвоева, — никакого сомнения не было. Просто, я подумал...

— А вот больше не думай, Александрович. И работай в полную силу. А что мешает — постараемся устранить. Будешь в Шебавино, обязательно заходи...

Хвоев попрощался на кухне с хозяйкой и сел в машину.

— На центральное, Миша. Да поскорее, чтобы Грачева застать.

— Не беспокойтесь, — с ехидной ухмылкой заметил Степанюк, — застанете. Наш директор тем и хорош, что больше в конторе сидит. А если бы не сидел, тогда совсем хана... Точно!..

«Газик», прыгая по кочкам, промчался поселком, выскочил за околицу.

Хвоев сидел задумчивый. Потом тряхнул головой, сунулся в карман.

— Миша, что куришь?

— «Гвоздики». У меня постоянная марка. По одежке, говорят вытягивай ножки. В холостяках, сами знаете, баловался «Беломором» и «Казбеком». А теперь — ша!.. «Казбек» не курю и усов не ношу. А какие были усы — шик!

— Демагог ты, Миша, — Хвоев повеселел, затыкнулся «Байкалом».

Поневоле, Валерий Сергеевич... Ведь седьмой год с вами...

— Да еще, оказывается, и остряк. Доморощенный...

Миша с довольным видом подал «газку».

— Ваш дружок фронтовой, видать, мужик толковый. Хвалят. А вот Грачев не по вкусу пришелся. Валерий Сергеевич, как так получается? Вот, допустим, я шофер.

— Допустим...

— Нет, я серьезно... Шофер — и меня никто не назначает, допустим, поваром или закройщиком в наше ателье. А других вот назначают. Хвоев хмыкнул. «Ловко подковыривает», — подумал он и буркнул:
— Бывают ошибки, Миша... В человека, говорят, не влезешь.
— Это когда влезать не хотят.

Впереди на перекрестке дорог появился мужчина в брезентовой куртке. Остановясь на обочине, он поднял руку. Миша, зная привычку Валерия Сергеевича подбирать всех по дороге, молча затормозил машину.

В широкоплечем пожилом человеке с крупным носом и седыми кустистыми бровями Хвоев узнал главного агронома совхоза Зенкова.

— На центральной?

— Садитесь, товарищ Зенков. Я к вам переберусь.

Несколько минут они молча сидели бок о бок на заднем сиденье, поглядывая на дорогу через ветровое стекло.

— Откуда спозаранок? — поинтересовался Хвоев.

— С пятого, — сказал Зенков, — ночевал там в бригаде.

Еще несколько минут они молчали.

— Что-то вы сеете медленно, — сказал Хвоев.

— А сев ведь не спортивные соревнования. В севе главное не время, а урожай. Будь моя воля, еще придержал бы зерновые. Почва не прогрелась.

Опять длинная пауза.

— Это хорошо — встретил вас. Кстати...

Хвоев косит глазами на Зенкова. Странный человек! Что ни говорит — лицо неизменно, как маска, с мрачно опущенными углами губ и большим угрюмо нависающим носом.

— Тут у меня с директором неладит... Орал он вчера и ногами топал. А мне такое совсем ни к чему. Мне уж на пенсию скоро.

— Да в чем дело-то?

— Из-за бобов вышло... Видали прошлое лето у Ермилова бобы?

— Конечно, видал.

— Тогда тем более... Вот и я так хотел... Не квадратно-гнездовым, а ленточным, как у Ермилова. Ну, а Петр Фомич опрокинулся: «Своевольничаешь! Подводишь меня под удар! Хочешь, чтобы в фельетоне ославили?! Будет команда, — пожалуйста, а до того не позволю». Вот потому и хотел вас повидать. Как считаете?

Зенков по-прежнему сидел нахоженный и мрачный, кажется, совершенно безразличный к тому, что скажет Хвоев. А Хвоев загорячился:

— Чего ж тут считать! Если все делать по команде сверху, тогда на кой черт агрономы на местах! Зачем они?

— Правильно!

Маска на лице Зенкова будто мгновенно растаяла. От скупой улыбки поднялись уголки губ, и нос висел не так уж угрожающе мрачно.

— А я, товарищ Хвоев, все-таки сделал... ленточным способом.

Петр Фомич встретил Хвоева как дорогого гостя. Лишь только Хвоев появился в дверях кабинета, Петр Фомич поспешно выбрался из-за своего большого стола под зеленым сукном и заспешил навстречу с протянутыми руками.

— Наконец-то!..

В кителе защитного цвета и такого же цвета полугалифе, хромовых, начищенных до блеска сапогах, плотный, осанистый, Петр Фомич выглядел солидно и начальственно.

— Как здоровье? С виду так ничего... А я вчера еще слышал... Значит, инкогнито?.. Как у Гоголя?..

— При чем тут инкогнито? — Валерий Сергеевич устало сел в кресло. — Просто хотел познакомиться с делами.

— Понятно, понятно... А я ждал. Думал, ночевать непременно заедет. Коньячку припас. «КВК»!

— Нельзя мне ничего такого...

— Коньяк всем можно. Коньяк, он, Валерий Сергеевич, лучше всяких лекарств. Нектар! Эликсир жизни! Я вот иногда простужусь. Носишься по этим отделениям. А их восемь. Так вот...

Валерий Сергеевич, склонив чуть голову, смотрел на Грачева и думал о Степанюке. Пожалуй, тот был прав, когда осторожно уклонялся от откровенного разговора о Грачеве. Ведь он, Хвоев, работая бок о бок с Грачевым, не мог не знать его недостатков. И нечего тут обманывать людей и самого себя. Знал он, но все равно рекомендовал директором совхоза. Почему так? Выходит, жалость взяла в нем верх? Да, жалость и надежда на исправление. Так было и с Кузиным. Но Кузин сумел перестроиться, а этот совсем скатился.

— Валерий Сергеевич, ты обедал? — Грачев, отодвинув пальцем рукав кителя, посмотрел на часы.

— Я? — Хвоев будто очнулся. — Да.. Нет, не обедал, но я не хочу. Рано еще. Да, а как у тебя тут сын Гвоздина?

— Игорь-то? Натаскиваю. Ничего так... Входит в курс дела.

Хвоев с досадой хлопнул по подлокотнику кресла. Слова-то какие! Почему он такой? Ничего не понял и ничему не научился. Остался самодуром. А людей он боится. Не верит им и боится. Да...

10

Эта весна в жизни Кольки Белендина была самой счастливой. Были пронизывающие до костей холода, в избе, настылкой и грязной, он по-прежнему жил один, была бескормица, ломались во время сева и пахоты трактора, но Колька будто ничего этого не замечал. Его все время опьяняюще согревала мысль о том, что Клава любит его. Это делало его крылатым, стойким и вливало столько энергии, что Кольке все давалось шутя, и он не знал усталости в работе.

Вчера они весь вечер провели у реки. Бродили между кустов и де-

ревьев по тропинкам, и Колька слегка досадовал, что они узкие — нельзя идти рядом, заглядывать Клаве в глаза.

Потом они сели на плоский камень, еще хранящий в себе тепло солнца. Кругом белела в темноте черемуха. Ее запах смешивался с запахом воды и трав. Точно зайчишка-шалун в первую порошу, ныряла в пухлых белых облаках луна. И, как музыка, неумолчно, с задумчивой грустью журчала, плескалась река.

Колька прижался щекой к щеке Клавы, взял ее ладонь.

— Клава, как хорошо!.. Очень хорошо... А можно, понимаешь, что бы всю жизнь так хорошо... Знаешь, мы будем жить по-особенному, не как все. Так, понимаешь, чтобы душа в душу. Ведь ты, Клава, и я — это одно.

— Нет, Коля, так нельзя... Не сможем так...

— Почему? — Колька откачнулся от Клавы, уставился на нее. При свете луны Колька заметил, что Клава улыбается покровительственно и снисходительно, точно слушает забавный лепет малыша.

— Жизнь, Коля, длинная и трудная. Всякое может быть...

— Клава, это, понимаешь, хорошо, что она длинная. Пусть! — Колька снова прижался к Клаве. — Все равно мы будем жить лучше всех. Знаешь, давайте все вместе: ты, я, Марфа Сидоровна и отец. Хватит ему в лесу...

Они договорились, что завтра Колька привезет отца, а через неделю, в следующее воскресенье, сыграют свадьбу.

Хотя Колька пришел домой за полночь и еще долго лежал в темноте с открытыми глазами, встал он, когда выгоняли в стадо коров. В одних трусах и майке выскочил на крыльцо. Вся река будто ватой завалена. Эта вата цепляется за кусты, деревья, виснет белыми лохматыми нитями и упрямо ползет в огороды.

Было холодно, и Колька, вздрогнув, слетел с крыльца, сделал несколько кругов по двору, присел, помахал руками и умылся из ведра, которое всю ночь стояло на лавке около сеней.

Минут пять спустя Колька в кирзовых сапогах и в стеганке направился на бригадный двор, чтобы заседлать там коня и ехать к отцу. За воротами он приостановился, улыбнулся (в последнее время он часто беспричинно улыбался) и подумал о ружье: «Взять, пожалуй... В тайгу, понимаешь, еду».

За селом дорога круто пошла вверх, точно вела на небо. Конь, низкорослый и лохматый, напрягаясь, вытягивая тело, упрямо и цепко стучал копытами по камням. А Колька бросил на луку поводья, привстал на стременах, оглядываясь вокруг, и запел. Пел он так, как когда-то пели его отец, дед и прадед — о том, что видел, а главное, о том, что накопилось на душе и рвалось наружу:

— Ай-ля-ля, ай-ля-ля!
Скоро мы поженимся,
Хорошо заживем,
Ой, счастливо заживем...

Колька открыл глаза, снова огляделся. Вот и вершина перевала. Солнце где-то далеко, внизу. А небо, кажется, стало ближе. Чистое и голубое, как Клавина косынка. Старики верили, что там, наверху — царство Ульгеня. А космонавт Юрий Гагарин всего несколько дней назад взял и забрался в это царство. Смелый человек!.. Он, Колька, тоже полетел бы. Вот только Клаву жаль оставлять. Если бы вместе, вдвоем... А что? Она не заботится. Она такая...

Внизу послышалась песня. Вскоре из-за поворота показалась лошадь, впряженная в телегу. Под солнцем поблескивали алюминиевые фляги с молоком. Чуть приотстав, шли гурьбой девушки-доярки в цветастых сарафанах.

Колька, пропустив подводу, попер конем на девушек.

— Н-но, не очень! Не дури! — шутливо крикнула пышногрудая девушка с толстой косой до пояса. — Скажу вот Клаве!..

Кольке стало приятно от слов девушки. Он рассмеялся и свернул на тропу. Девушки что-то кричали вдогонку и хохотали, но Колька уже не слушал их. Перекинув на одну сторону седла ноги, он закурил. Сейчас он спустится в лог, поднимется вон к тому кедрачу и оттуда увидит анл отца. Он теперь, наверное, чай кипятит. Любит чай, как все старики. Отец, конечно, обрадуется, когда узнает о свадьбе. Клава нравится ему.

В логу солнце не вышло еще росу, и высокая трава и кустарник стояли все сизые. Было прохладно, и от малейшего прикосновения к ветвям на Кольку сыпались прозрачные свежие капли.

Вдруг конь всхрапнул, вскинул голову.

— Ты что? — Колька ободряюще хлопнул коня по шее, толкнул в бока каблуками сапог. Конь, прядая ушами, храпел и пятился. А со дна лога косогором мчались коровы. Ослепленные страхом, мчались наугад, куда придется.

Колька выпрыгнул из седла и, заряжая ружье, побежал вниз, наперерез коровам. «Похоже, сам хозяин тайги! — подумал Колька. — Только бы не успел задрать корову...»

Путаясь в траве, Колька вскочил на круглую покатую поляну. И сейчас же ближний куст вздрогнул — из него проворно вывалился медведь.

Они стояли один на один. Человек и матерый зверь. Их взгляды встретились. Колька понял, что медведь обозлен: человек осмелился помешать ему, встать на пути.

Гулкий выстрел еще блуждал между стволами деревьев, а приподнявшийся на дыбы зверь медленно, будто нехотя, осел и повалился. Выждав несколько секунд, Колька осторожно подошел к медведю, ткнул его стволом. Готов.

Колька вытер ладонью потный лоб, облизал пересохшие губы. Захотелось курить. Он хлопнул по карману фуфайки, нащупывая папиросы и, сам не зная почему, оглянулся. Совсем рядом, в каких-то двух метрах, стоял второй медведь. Колька едва успел вскинуть ружье.

Сквозь легкую голубоватую пелену дыма Колька увидел красную,

оскаленную пасть зверя. Колька толкнул в нее ствол. Медведь ударил лапой по ружью так, что оно отлетело. Колька, перескочив валежину, бросился за ближайшую сосну. Срывая с себя на бегу фуфайку, Колька слышал, как медведь сопит и рывкает за его спиной.

Когда медведь привстает, чтобы навалиться и придавить, Колька бросает в него фуфайку. Медведь остервенело рвет ее, а Колька тем временем убегает. Но разве убежишь? Вот он опять за спиной.

Схватясь за дерево, Колька останавливается. Мелькает мысль: «Дерет с лица... Отец говорил...». А медведь привстает с разведенными когтистыми лапами. Он не особенно спешит: уверен в победе над безоружным человеком.

Пригнув голову, Колька стремительно бросается под медведя. Зверь перелетает через него и оказывается за спиной. Колька вскакивает, изловчась, хватая медведя за уши, давит изо всех сил к земле. Ножи..

Хотя Колька быстро выхватил нож и, вцепившись в лезвие зубами, раскрыл его, медведь успел мазнуть лапой по скуле. Удар скользящий, но все равно голова Кольки наполнилась шумом. Покачнувшись, Колька взмахнул ножом раз, второй..

— На, понимаешь!.. На!..

Медведь рывкнул, отшатнулся, зажал лапой глаз. И снова надел на Кольку. Насел яростно, неотступно. Колька всячески увертывался, прятался за деревья и все время отмахивался складным ножом, стараясь угодить медведю во второй глаз. Один из ударов достиг, наконец, цели. Слепленный медведь закружился на месте. Колька схватил подвернувшуюся под руку орясину и долго бил зверя по голове.

— Вот тебе! На, понимаешь!

Когда медведь ткнулся мордой в траву, Колька шлепнулся на толстую обомшелую валежину. Только теперь он почувствовал смертельную усталость. Во рту горит, сердцу тесно в груди. Оно стучит и рвется, рвется...

Стараясь избавиться от противного гула в ушах, Колька трясет головой — все равно гудит, точно провода в ненастье. Пиджак и рубашка изодраны в клочья и всюду кровь, теплая, липкая.

— Однако, устрепал... Вот, понимаешь... Где же пастух? И коня нет.

Колька попытался встать, но не тут-то было.

В голове зашумело еще сильнее, и все кругом закачалось. Нет, он встанет, обязательно встанет! И встал. Нашел подходящую палку и, опираясь на нее, заковылял на тропинку.

На пригорке, за деревьями, он увидел коня. Тот не сразу подпустил к себе. Все всхрапывал, стриг ушами и, когда Кольке оставалось только схватиться за повод, — испуганно отбежал.

— Да ты что, дурной? — сердился Колька и, бросив палку, опять, ковыляя, подступал к коню. — Это же я. Вот чудак, понимаешь... Тпр-р!

Спустя полчаса Колька, держась обеими руками за луку и склонясь к шее коня, подъехал к стоянке отца. Вот конь сам остановился, срезал под порогом старого аила стебель травы, а Колька все сидел. Наконец,

он, сгоня сонливость, тряхнул головой, немного выпрямился и позвал хриплым голосом:

— Ата... Ата!..

Откуда-то вынырнул Барс. С поджатым хвостом обежал коня, глянул на Кольку и завыл.

— Пошел! — рассердился Колька и с трудом спустился на землю. — Не хватало еще, понимаешь!..

Барс, несколько отбежав, опять завыл. Выл тоскливо и смотрел Кольке в глаза, точно искал сочувствия.

Колька, покачиваясь, подошел к айлу, распахнул дверь.

Отец лежал на спине, с неестественно подвернутой под себя ногой. Левая рука, с зажатой в кулаке трубкой, откинута.

— Ата! Ата! — крикнул Колька с ужасом.

Сенюш не шевелился.

Костер в его ногах давно потух, подернулся пеплом.

11

Игорь проснулся и сразу никак не мог понять, где он находится. Почему под правым боком, у стены лежит Нинка? Тьфу, дьявольщина! Он же в своей комнате...

Увидав на столе пустые бутылки, он ощутил неприятную тяжесть в голове. Надо же было!.. Он поморщился и подумал о том, что Нинка пила вчера не меньше его. Коньяк глушила...

В безмятежном сне Нинка посапывала и время от времени сладко чмокала губами. И это почему-то не давало покоя Игорю, раздражало.

Он повернулся на бок, достал со стола любимые Нинкины сигареты «Друг». Курил, думал, смотрел в окно напротив кровати. В комнате и на улице было еще темно, но где-то далеко за силуэтами домов, в горах, занималась заря. Ее краски были прозрачными и нежными, точно на акварельных картинах Боголюбова.

Игорь вспомнил, как он всего какой-то месяц назад встретился с Нинкой в чайной. Уж лучше было не встречаться! Нинка—мелкий хищник. И любви у них никакой. Лишь животная страсть и заманивание друг друга в ловушку. Игорь мстительно улыбнулся, подумав, что тут Нинка переоценила свои силы... Не помог и ранее приобретенный опыт...

Заря за окном разгоралась. Краски становились ярче, уверенней, и вот уже в коридоре противно заскрипела дверь, где-то замычала королева. Хлопали крыльями и оглашенно орали, перебивая один другого, петухи. Стекла в окне посветлели, и в комнате из помутневшего мрака стали проступать очертания скудной холостяцкой обстановки: шаткий стул с небрежно брошенным платьем Нинки, фанерный шкаф у стены, ржавый жестяной умывальник в углу.

Игорь загасил окуроч и повернулся опять на спину, скосил глаза на Нинку. Почему она казалась ему красивой? Ничего в ней нет. Хотела обдурить, а сама влипла. Развила бешеную деятельность. Сносились в Шабавино, подмазалась там к его матери. А та, не долго думая, при-

катила сюда, ходила к Грачевым в гости и даже ночевала там, у них. Мать — примитив. Век, считай, прожила, но так и осталась ограниченной. Втемяшится что в голову — все! Будет долбить, как дятел.

Он в душе негодовал и смеялся, когда мать испытывала на нем свои психологические приемы. Она, конечно, была уверена, что все выходит у нее очень тонко и умно.

— Игорь, ты, кажется, еще глуп. Честное слово! Ты ничего не соображаешь в женской красоте. Ведь Нина — картинка. Настоящая картинка, красавица! А потом, — тут мать снизила до шепота голос, хотя в комнате больше никого не было, — Петр Фомич директор, у него большие связи в Верхнеобске.

— Ну и что? Вот твой предок был с толстым карманом и связи там всякие... Сама говорила... А что из этого? Его упрятали в хитрый ящик, а вам пришлось в пожарном порядке сматывать удочки.

Феоктисте Антоновне ничего больше не оставалось, как возмутиться:

— Ты невыносим! Честное слово! И так говоришь! Жутко слушать! «Упрятали в хитрый ящик», «предок» и как там... «сматывать в пожарном порядке...» Это главный зоотехник совхоза!.. И потом пойми: неужели я желаю тебе плохого? Мать желает плохого своему единственному сыну, да?

— Вот и я, мать, думаю... Неужели, думаю, ей хочется сделать меня несчастным? Несчастливым на всю жизнь, на век!

— Нет, я больше не могу! Не могу! Мучитель! — мать схватилась за голову, потопталась посреди комнаты и ткнулась в подушку. Ее жирные плечи вздрагивали — плакала.

Игорь почему-то отошел к двери и оттуда смотрел на мать. Он не чувствовал ни укора совести, ни жалости к ней. Поражение матери даже доставляло удовольствие. А «хитрый ящик, предок, сматывать удочки» он умышленно ввернул, чтобы больше досадить. Суется, а самого главного не понимает. Уже забыла, что ли, что бывает любовь. А если ее нет, если он с трудом терпит Нинку, то на кой черт ему положение ее отца и какие-то там связи?

В коридоре снова скрипнула дверь, а за тонкой перегородкой слышался разговор.

Игорь отодвинулся от Нинки на самый край постели. Дрыхнет, а люди вон уже поднимаются... А ведь атакуй она так яростно несколько раньше, он, пожалуй, сдался бы. Определенно! А теперь — дудки! Теперь он убедился, что вот эта постель — не главное в совместной жизни.

Нинка, не открывая глаз, потянулась к шее Игоря обнаженной теплой рукой. Игорь отвел руку сказал:

— Вставай! Слышишь?

Нинка, не отвечая, прижалась к Игорю. Тогда Игорь встал сам, оделся и, присев на край стула, закурил, хотя еще от первой сигареты было противно во рту.

— Вставай! Вон кругом поднимаются... Мне уж стыдно на люди появляться...

Нинка, уловив в голосе Игоря нотки отчуждения, мгновенно открыла затекшие глаза.

— Дай закурить, — потребовала она хриловатым, точно простуженным голосом.

Игорь подал сигарету, зажег спичку, а сам беспокойно думал: «Просто с ней не развяжешься. А Петр Фомич после этого съест. Проглотит, как крокодил. Надо заранее просить перевода в другой совхоз. Пусть зоотехником отделения...»

А Нинка глубокими затыжками старалась заглушить внутреннее волнение. Она давно поняла, что отношения с Игорем неудержимо мчатся к развязке. А этого так не хотелось. И совсем не потому, что любила Игоря. Нет! Надоела бродячая жизнь. Всею бывает свое время. Теперь хочется спокойно жить с мужем где-нибудь в городе, в хорошей квартире, хорошо одеваться, иметь хороших, с положением, знакомых. Игорь как раз для такого подходит. Из себя видный, не глупый, а в городе ему устроиться легче, чем кому другому.

Вот почему Нинка так энергично старалась поправить свои отношения с Игорем и как можно скорее довести их до женитьбы. Только бы сходить в загс, а потом — все! Потом он никуда не денется и разговаривать потом с ним можно будет совсем иначе. А теперь приходится всячески маневрировать, улыбаться тогда, когда хочется вlepить пощечину. Ломается, воротит нос... Подумаешь!..

Вот и теперь Нинка, оскорбленная тем, что Игорь так бесцеремонно выпроваживает ее, улыбнулась и сказала как бы между прочим:

— Совсем забыла тебе сказать. Вчера звонили девчонки из Шебаино. Клава выходит замуж. Не слышал? За Кольку Белендина. На днях свадьба.

Игорь сидел с опущенной головой. Он не видел Нинки, но чувствовал ее взгляд. Он осязает, как осенняя муха, назойливо ползающая по лицу. Взгляд, как и муха, раздражал, и от него, как и от мухи, хотелось во что бы то ни стало избавиться.

— С какой целью, интересно, ты меня информируешь?

Нинка довольно и, как показалось Игорю, глуповато хохотнула.

— Так просто... Чтобы принял к сведению. Забралась, наконец, в свои сани. Как ни крутилась...

Игорь впервые подумал о том, что между Нинкой и его матерью много общего, как у дочери с матерью. Примитивны и глупы, как бурундуки.

— После завтрака поеду по отделениям. Пока все не объеду — не вернусь. Надо проверить скот на выпасах, — Игорь взглянул на свои наручные часы, подкрутил пружину. — Я сейчас в чайную... Ключ положишь под дверь.

— Подожди! — Нинка порывисто села, свесив оголенные до колен ноги. — Почему так вдруг? Ничего не говорил.

— А что я должен по работе отчитываться? Забыл просто. Ну, я пошел. Ключ положи, а то придет уборщица...

— Подожди, Игорь! — со слезами отчаяния в голосе крикнула

Нинка, но Игорь уже захлопнул дверь, поспешно, будто за ним гнались, пробежал коридором.

До открытия чайной было еще около часа. Но это ничего. Можно сходить к реке, обдумать все и взвесить. Вот положение... А Клава, значит, выходит... Что же, Колька — парень неплохой, покладистый. Звезд, конечно, с неба не хватает. Да ведь и он, Игорь, тоже не Юрий Гагарин. А почему, интересно, он Кольку сравнивает с собой? Действительно...

Он вспомнил, как ехали они с Клавой в Верхнеобск сдавать в институт, как ели купленную им дыню. «Дай бог счастья!» — сказала тогда хозяйка дыни, приняв их за молодоженов. Клава смутилась. Кажется, недавно это было — и давно...

Еще не сравнялось пяти часов, а Петр Фомич был уже на ногах. Заглянув в комнату дочери, он увидел пустую нетронутую постель и поморщился. Хм!.. Ведь опять останется с носом. Уже осталась...

Петр Фомич разжег на веранде керогаз, поставил на него чайник и вышел на крылечко. Рядом, у перил, стояла лопата. Грачев взял ее, примерился и смаху вонзил в землю. Вывернутый ком оказался черным, жирно лоснился. Грачев размял землю на пальцах — она рассыпалась творогом, — понюхал и принялся энергично копать. Работа доставляла наслаждение, отвлекала от мыслей. А мысли были невеселыми. В последнее время он все чаще стал вспоминать Татьяну. Есть жена и нет ее. А почему так? Почему они как-то незаметно стали чужими? Его все время тянет увидеть ее, а приедет — обязательно разочарует: все холодно, натянато...

Полчаса работы приятно разогрели Петра Фомича и приятно утомили. Опираясь левой рукой о лопату, правой он вытер со лба пот. Зачем он копает, для чего? Цветы посадить? Хорошо, когда цветы. Особенно здесь, у веранды. Вьюны там и еще какие-нибудь, чтобы яркие, крупные.

Почему он раньше никогда не думал о цветах? Ведь одно удовольствие вечером после работы присесть на ступеньку, а вокруг цветы, прохлада, сумерки. Сидеть, покуривая, думать, смотреть, как загораются звезды... А когда станет совсем темно и свежо, пойти в дом. Перед сном хорошо выпить стакан густого и горячего чая со свежим вареньем.

Вспомнив о чайнике, Петр Фомич заспешил на веранду. Чайник давно кипел. Пар вырывался из соска, брякал крышкой.

Обжигая пальцы, Петр Фомич увернул керогаз, понес чайник в кухню, где уже возилась около печи его сестра Прасковья, шестидесятилетняя деба.

Выпив чаю, Петр Фомич пошел в контору. Надо было вызвать главного механика и поехать с ним на пятое отделение. Там не ладится с тракторами: один стоит с самого начала сева, у второго вчера подшип-

ники полетели. Зиму в потолок плевали, анекдоты рассказывали, а теперь вот морочься.

Петр Фомич неожиданно подумал о том, что человек почти всегда считает себя непогрешимым. Собственное «я» всегда чисто и прозрачно, как стеклышко. Виноваты всегда другие. Вот и у него так, пожалуй. С Татьяной не ладится — она виновата. Трактора стоят — тоже виноват кто-то, но только не директор. И вот Хвоев стал уже виноват...

Вчера Хвоев не пробыл в его кабинете и пятнадцати минут, как позвонили из райкома. Девушка-секретарь спрашивала, не появился ли Валерий Сергеевич.

— Появился, вот он, рядом, — Петр Фомич подал Хвоеву трубку.

Из разговора Грачев понял, что приехал кто-то из Верхнеобска и Хвоеву необходимо срочно вернуться в райком.

— Ладно, приеду.

Хвоев сердито сунул трубку Петру Фомичу. Тот положил ее на рычаги и поймал себя на том, что доволен поспешным отъездом Хвоева. Посторонний глаз всегда найдет за что зацепиться. Это он по себе знает, когда был председателем райисполкома. И потом Петр Фомич с первого взгляда понял, что Хвоев не в духе. А «дух» — великое дело. Когда человек не в духе, он может ни за что разгром устроить.

— Вот всегда так! — возмущался Хвоев. — Хотел тут осесть и обязательно разобратся... Да разве дадут! Не то, так другое.

— Хорошо, если бы побыл. Помощи всегда рад, — Петр Фомич в душе убеждал себя, что говорит искренне.

— Я приеду. Возможно, даже завтра... А сейчас скажу, Петр Фомич, прямо. Прошу не обижаться.

— Какая может быть обида, если для пользы. — Петр Фомич криво усмехнулся. — А потом... У нас есть основания говорить друг другу правду.

— Так вот, не туда ты гнешь, Петр Фомич! Методы не те. Без доверия к людям работаешь. Так ничего не выйдет. Я вот хотел как следует присмотреться, а потом собрать производственное совещание и обсудить все. Дела-то неважные.

— Есть недостатки. Сознаю... Тот не ошибается, кто ничего не делает. А я кручусь тут, как черт перед рождеством.

— С людьми ведешь себя, как фельдфебель, а у самого заяц в душе. Почему Зенкову не разрешил сеять бобы так, как он считает нужным?

— Успел пожаловаться?

— Совсем не то, Петр Фомич! — Хвоев с досады крутнул головой. — Причем тут «успел пожаловаться»? Человек старается, а ты его по рукам хлещешь.

— Валерий Сергеевич, тут надо вникнуть. Некоторым лишь бы инициативу проявить, себя показать, а там хоть травушка не расти.

— Но ведь Зенков не относится к таким «некоторым».

— Почем мне знать, относится или нет?

— Вот твоя главная беда, Петр Фомич! Ты должен знать. Обязан знать! Да!.. Директор должен знать людей, а ты не знаешь. Так далеко не уедешь...

...Петр Фомич не раз вспоминал слова Хвоева. Вспоминал и нервничал, раздражался. Открыл Америку!.. Он сам не мальчишка, понимает, что многое у него выходит не так, как надо. Правильно, нет у него доверия к людям. Но ведь его за деньги не купишь. Такое дело.. В плоть и кровь вошло... Это ведь мучительно, когда понимаешь, что неправильно, но иначе не можешь. Не можешь, и все тут, хоть тресни! Вот будто возьмешь правильную линию, но тут же собьешься и опять на старую наезженную колею... А он: «Ты обязан знать... методы не те»...Сказать проще всего...

Петр Фомич уже подходил к конторе, когда из-за угла старого, с позеленевшей крышей барака — память о тридцатых годах, когда организовался совхоз, — вынырнула Нинка. Заметив отца, она опустила голову — сделала вид, что не заметила. Петр Фомич остановился и оглянулся кругом — улица была еще безлюдной.

— Ты вот что, девка! — Петр Фомич почувствовал, что у него дергается левое веко. — Сегодня же убирайся отсюда! Чтоб духу не было! Работать надо. Устраивайся там, у матери.

Нинка ничего не сказала, даже глаз не подняла. Она обошла отца и устремилась к дому.

Чулок на правой ноге спустился, сама вся мятая, сникшая, смотрит в землю и бежит, и бежит...

Петр Фомич провожал дочь взглядом. Злость и жалость боролись в нем.

А Нинка забежала в свою комнату и, как была в пальто, туфлях, бросилась на постель, зарыдала. Плакала долго, содрогааясь. Потом, вся растрепанная, приподнялась, стянула с ноги черный замшевый туфель на тонком высоком каблуке и зло швырнула в угол. И опять повалилась на кровать, тупо глядя мокрыми глазами в потолок.

12

Геннадий Васильевич и Катя сидели в первом ряду. За их спиной, в зале, было темно, но лицо Кати мягко освещалось светом рамы.

Из-за кулис вышла стройная и смуглая девушка — медицинская сестра районной больницы. Пока баянист усаживался на стул и прилаживался, девушка стояла неловкая. Ей явно мешали руки и смущало слишком уж сильно декольтированное платье. Но вот звонким ручьем всплеснулась музыка, в нее органически влился голос девушки:

Выросла кудрявая,
Расцвела красавица,
Будто от метелицы
Вся белым-бела...

Зал, кажется, не дышал, покоренный нежным проникновенным го-

лосом. А девушке уже не мешали руки, и она совсем забыла о том, что платье так непривычно сильно декольтировано. Голос ее то взлетал, то падал, и тогда снова брала за сердце музыка, в которой легко улавливался плеск и звон ручья, шорох весеннего ветра.

На ветру качается,
Солнцу улыбается.
— Здравствуй, моя яблонька!
Как твои дела?..

Геннадий Васильевич слушает и незаметно косит глазами на жену. Она вся подалась вперед. Глаза горят, на припудренных щеках проступает румянец. Катя то кивком поощряет пение, то недовольно поморщится, а потом вдруг, очевидно, уловив в голосе девушки фальшь, вся передернулась и стукнула себя кулаком по колену.

— Хороший, замечательный голос, но не поставлен. Поработать бы с ней, — говорит Катя, когда девушка в шквале аплодисментов неловко, но благодарно кланяется.

Геннадий Васильевич доволен. Не так легко и просто удалось ему «затянуть» жену на концерт.

Утром в кабинете Ковалева неожиданно появился Ермилов, сопровождаемый Клавой.

— Привет, Геннадий Васильевич!

— О, привет, привет, дорогой Сергей Осипович! — Ковалев встал за столом. — А я уже собирался звонить.

— Зачем? Я знаю, когда приехать, — Ермилов бросил на стул старенький, обшарпанный портфель и такой же старенький прорезиненный плащ. — Погодка-то, а? Благодать! Прет все как на дрожжах!..

— Погода будто специально для кукурузы.

Ковалев с признательностью пожал маленькую, но сильную руку агронома, с которого Клава, стоя в конце стола, не спускала восторженных глаз. Он казался ей необыкновенным, а каждое его слово глубоким, даже мудрым. А Ермилов, ничего не замечая, присел к столу, обмахнул соломенной шляпой потное лицо.

— Лыстишь, Геннадий Васильевич. — Почему только для кукурузы нужна такая погода? А другие посевы?..

Вскоре они в стареньком «газике», позаймствованном Ковалевым в райкоме партии, выехали смотреть кукурузу.

Машина еще как следует не остановилась, а Ермилов уже сидел на корточках на краю трехгектарного участка на пологом солнечном склоне.

— Взшла! Взшла! — он бросил снизу на Ковалева взгляд, полный радостного торжества. Ковалев, радуясь и волнуясь, тоже опустился на корточки и вместе с Ермиловым смотрел на бледные шильца всходов.

— Все хорошо, Геннадий... — Ермилов, о чем-то задумавшись, молчал, потом добавил: — Васильевич. Прекрасно! Вот только...

Ермилов исколесил вдоль и поперек маленький участок, присаживался, копался в земле.

— Василич, корка... И сорняки лезут. Культивацию. И немедленно! Завтра же!

Перед обедом шофер увез Ермилова в совхоз, к Зенкову. А Геннадий Васильевич попутно навестил свиней, которых три дня назад перевели в летние лагеря.

Кажется, сегодня ничего такого не произошло, но Геннадий Васильевич был в приподнятом настроении. Он поинтересовался у Эркелей самочувствием Костика. Эркелей, польщенная вниманием, так вся и расцвела.

— Большой стал. С дедом друзья — водой не разлить. Я теперь не нужна стала. Даже обидно...

Обмениваясь шутками, они шли пастбищем. Свиньи окрепли и поправились. Сейчас они деловито срезали мягкую сочную траву, рыхлили пятаками черную землю, отыскивая коренья. Геннадий Васильевич подумал о том, что вся «свиная» жизнь сосредоточена лишь на жратве. Они, говорят, даже неба не видят. Ну, свиньи, они есть свиньи, для того и существуют, чтобы жир наедать. А вот плохо, когда нечто похожее происходит с людьми. Погрязнут в своих делах и хлопотах, порою мелких и бестолковых, и ничего вокруг не замечают — «неба не видят», а только жиреют и тупеют.

После обеда Геннадий Васильевич побывал в книжном магазине и купил там несколько брошюр по агротехнике возделывания кукурузы. В колхозе с прошлого года не было агронома. До этого агрономом работал Лапин. Пожилой и апатичный, он когда-то, очень давно, окончил шестимесячные курсы. Слабые знания и полное отсутствие любви к земле сделали Лапина человеком никчемным. И когда в прошлом году Лапин подал заявление с просьбой отпустить его на жительство в город, к сыну, Ковалев первым на заседании правления сказал: «Пусть едет! Много не потеряем».

Возвращаясь к себе в контору, Ковалев обратил внимание на афишу около Дома культуры. В ней сообщалось, что сегодня состоится концерт самодеятельности, посвященный окончанию в районе весенне-полевых работ.

Ковалев внимательно, от буквы до буквы, прочитал афишу, а потом спросил себя не очень уверенно: «А что, если сходить? А почему, в самом деле, не сходить?»

Чтобы потом не передумать, Ковалев решил сейчас же приобрести билеты. Но касса оказалась закрытой. Тогда Ковалев прошел на сцену и попросил директора продать ему два билета.

Дома Ковалев положил на стол билеты, хлопнул по ним для значительности ладонью и сказал:

— Вот, мать!.. На концерт сегодня идем. Готовься...

Катя растерялась и, кажется, даже испугалась. Побледнев, она несколько секунд не находила, что сказать.

— Да как же?.. Ты предупредил бы...

— Вот и предупреждаю,— сказал с улыбкой Геннадий Васильевич.

— Да нет, Гена... Я тесто на вечер завела. Хочу пирожки с картошкой постряпать. Володька давно просит.

— Пирожки, Катя, потом, не уйдут.

Дело совсем осложнилось, когда подошла пора одеваться. Катя решила надеть свой единственный костюм песочного цвета, справленный в первый год их совместной жизни. Но Катя располнела, костюм оказался узким. Несколько дорогих платьев, сшитых три-четыре года назад, тоже стали тесными.

— Ну вот, а все на жизнь обижаешься, — подтрунивал Геннадий Васильевич, уже одетый в новый темный костюм.

Катя нервничала и, кажется, готова была разреветься. Она с трудом стянула с себя платье, швырнула на диван.

— Не пойду! Иди один, если хочешь!..

Но все это теперь позади. Теперь Катя жадно смотрит на сцену. Лицо вдохновенное, и она совсем не похожа на ту Катю, которая час назад собиралась на концерт.

В антракте Геннадий Васильевич спрашивает:

— Так ты считаешь, что она способная?

— Очень даже... Ты же сам слышал. Ей бы в музыкальную школу...

— Ну, школа — дело длинное. А вот ты могла бы с ней позаниматься?

— Я? — Катя смотрит на мужа с недоверием. — Конечно, могла бы. Думаешь — я теперь уж никуда не похужу?

— Вот как раз не думаю! — Ковалев прижимает к себе локоть жены. — Так займись, Катя? Благодарное дело. Она век не забудет.

— Можно. Почему не заняться, — Катя говорит не очень уверенно.

— Так пошли, договоримся?

Геннадий Васильевич увлекает жену из фойе в зал. Они подходят к маленькой двери, ведущей за кулисы, и Катя начинает упираться, высвобождать свою руку из-под руки мужа.

— Подожди, Гена. Им теперь не до нас. Там теперь такая горячка. Я завтра зайду. Зайду и договорюсь.

Ковалев разочарованно вздыхает.

— Нет, я, правда, зайду... Вот посмотришь! — уверяет Катя и сама берет его под руку. — Давай сядем...

Назавтра за ужином Геннадий Васильевич спрашивает:

— Ну как, была?

— Где была?

Катя старается смотреть так, будто ничего не знает и будто вчера у них не было никакого разговора. Это злит Геннадия Васильевича.

— Где, где!.. Не притворяйся! В Доме культуры была?

— Смешной ты, Геннадий. Честное слово!.. Есть мне когда ходить, а тем более заниматься? Ты же видишь — я по дому с трудом управляюсь. К вечеру ног под собой не чувствую. Или тебе все равно.

Геннадий Васильевич нагнулся и усиленно заработал ложкой.

Кольке досталось больше, чем он поначалу полагал. Медведь когтями нанес ему не только глубокие раны, но и сломал левую ключицу. И потому Колька, весь обмотанный бинтами, с гипсовой повязкой на ключице, лежит в больнице. Он даже отца не хоронил. Ему лишь выше приподняли изголовье и повернули койку так, чтобы он видел в окно похоронную процессию. Отца унесли, а Колька еще долго слышал через открытое окно звуки траурной музыки.

Окно раскрыто и теперь, и Колька ощущает лицом легкое дуновение ветерка, напитанное сладковатым запахом липких тополиных листьев и цветущей сирени. Сирень стоит рядом, на тумбочке, в литровой банке из-под маринованных патиссонов. Это Клава вчера принесла сирень. Как зашла с букетом, так на всю палату запах, и все четверо больных, приподняв головы, заулыбались. Уважают ее здесь. Вчера она Филимоновичу принесла папирос, а Ленке вон — лезвий для безопасной бритвы. Его же, Кольку, завалила... Несет и несет... Хоть не говори... Вот опять скоро должна прийти.

Розовые лучи заходящего солнца, врываясь в высокое окно, падают квадратом на противоположную белую стену, и на стене видно все до мельчайшей крапинки, как под увеличительным стеклом. Колька с любопытством следит, как шмель, круглый и мохнатый, хлопчет около сирени. Он то сядет на букет, то приподнимется и, угодив в полосу лучей, сразу станет весь золотым.

— Так, говоришь, Миколай, вчера должны были свадьбу играть?

Это спрашивает со своего места старик Филимонович, маленький и волосатый, которого готовят к операции грыжи. Старику давно все известно во всех подробностях, и спрашивает он, очевидно, потому, что больше нечего делать. Колька тоже знает, что старику все известно, но охотно отвечает: ему приятно, когда говорят о Клаве, их женьитьбе.

— Должны... — Колька тяжело вздыхает. — Вот так, понимаешь, все получилось...

— Да... — сочувствует старик. — Выходит — надсмеялась над тобой судьба?

— Судьба? — встречается в разговор тракторист Ленка. Сидя на своей кровати, он, как ребенка, придерживает сломанную правую руку, толстую и белую от наложенного гипса. — Причем тут судьба? Медведь.

— И не токмо медведь! — вскидывается старик. — Ты что думаешь, не успела земля на могиле отца обсохнуть — сразу свадьбу? Добрые люди так не делают. И вот он, Миколай, так не поступил бы, — старик, морщась от боли, спускает босые ноги с кровати, сует их в шлепанцы, сидит, поджав ладонями живот. — Я вот в молодости на Капказе жывал, в Тифлисе. Так там в таких случаях не только что-нибудь, а шесть месяцев ходят все в черном и шесть месяцев волос не трогают. Да, такой порядок, положено так... Скорбь, значит, свою выра-

жают. Зарастет весь. Бородище — во! — старик тычет ладонью где-то около пупка, — на голове куделя, а не трогает. Он бы, конечно, и рад, а закон не позволяет...

Леньке возражать нечего, и он переходит на личные выпады.

— Шесть месяцев! — хмыкает Ленька. — Да ты вот, видать, всю жизнь волоса не трогаешь. И скорби будто не выражаешь.

— Ох же и ядовит ты, Лексей, — старик качается на кровати ма-ятником — унимает боль в животе. — Зачем ты меня пристегнул? Мое дело — особь статья. Мне в прошлом годе на восьмой десяток поехало. И всякий антерес у меня теперича потух.

Ленька скалит в улыбке зубы.

— А может, не потух еще, а? Вот если что-нибудь такое, лакомое?.. Может, загорится, а?

— Нет! Нет! — трясет головой Филимонович и миролюбиво, будто они не спорили, предлагает: — Пошли покурим?

— Пошли, — Алексей достает из тумбочки папиросы.

У дверей старик обращается к Кольке:

— Да, Николай, не в кон с тобой вся эта история... А случись сразу после свадьбы — иной коленкор. Тогда бы ты со своей молодухкой весь год медвежатику поедывал. Теперь хотя время жаркое подступает, но все одно — можно было присолить, подкоптить. А так там ее уж порешили.

Ленька трогает Филимоновича за рукав.

— Пошли! Вот теперь я понял, что в тебе все погасло. Старика-то чем поминали? Медвежатиной, поди?..

Они уходят, а Колька смотрит в потолок и улыбается. Медвежати-на его не тревожит. Пусть брат там как хочет, так и распоряжается. Шкуры он, сказывал, уже сдал. Это хорошо — деньги, понимаешь, на свадьбу пригодятся. Да и отца, говорят, надо еще поминать, когда срок дней пройдет... Пусть поминают...

Из коридора доносится частое и четкое постукивание каблучков. «Клава?» — Колька весь насторожился, даже дыхание затаил.

Она зашла после короткого стука в дверь, и Колька весь потянулся к ней, как тянется растение к свету. С румянцем застенчивости на смуг-лых щеках, она негромко поздоровалась и осторожно, на носочках, по-дошла к Кольке.

— Ну как самочувствие, Коля?

— Да ничего, понимаешь, хорошо. Садись, Клава.

Клава прислонила к тумбочке туго набитую хозяйственную сумку, взяла стул, села.

— Ну как там? Ох, и надоело, понимаешь, валяться?

Кольке кажется, что в белом халате и голубой шелковой косынке Клава еще красивей, нежней. Вот так бы и смотрел, глаз не отводил. А девушке неудобно от его неотступного, жаркого взгляда. Она, по-тупясь, смущенно двигается на стуле, кладет на лоб Кольки ладонь.

— Температуры нет?

— Давно нет.

— Сегодня Ермилов приезжал, от Григория Степановича из «Искры», — сыплет скороговоркой Клава. — Кукуруза, говорит, будет. Здорово, если будет? Правда, Коля?

— Правда, — Колька придавливает своей ладонью ладонь Клавы, прижимается к ней губами. Клава видит, что Кольке сейчас очень приятно, а ей вот почему-то все равно. Но она руки не отнимает. Она с удивлением думает о Кольке. Вот он на вид самый обыкновенный, такой, как все, а в самом деле необыкновенный. О нем вон даже в центральной газете написали. И стоит! Клава не раз пыталась мысленно поставить себя на место Кольки, — и ей становилось так страшно, что дрожь всю прохватывала. Она там со страху сразу умерла бы. Складышем победить такого зверя!

— Да как ты, Коля, сумел? — спросила Клава в тот день, когда Бабах привез его в больницу.

— Поневоле сумеешь... Я не сумел бы, так он...

Колька, конечно, герой. Самый настоящий. Может быть, не меньше, чем Юрий Гагарин. И хорошо, что он такой скромный, обыкновенный.

— Мама привет тебе передала.

— Спасибо. Ей тоже передавай...

— Она вот тут курочку зажарила, — Клава берет за сумку.

— Ну к чему? — конфузится Колька. — Не надо! Сами... У меня и так вон полна тумбочка... Сестра даже замечание сделала.

— Ешь, чтобы не залеживалось. А маму не обижай. У нее ведь свои порядки. Она, может, и не решилась, если бы эта рябенка перестала нестись. В наказание...

— Ну, раз так — я продолжу наказание рябенкой.

Они смеются. Кольке очень хорошо. Он даже забыл про свои раны и про закованную в гипс сломанную ключицу. А Клава достает из сумки газетный сверток, потом книгу.

— Чтобы не скучал. «Повесть о жизни» Паустовского. Не читал?

— Нет.

— Замечательная. Вот читаешь, будто хорошую музыку слушаешь. Как-то все прозрачно, нежно и немного грустно.

Неожиданно в палату заходит Татьяна Власьевна. Руки в карманах накрахмаленного халата идеальной белизны, непокрытую голову держит прямо, даже чуть откинула, будто ее тянет назад тугой узел косы. И очевидно, поэтому Татьяна Власьевна кажется гордой, неподступной.

— Зрасть! — Клава, вся вспыхнув, поспешно встает, напоминая школьницу.

— Сиди ты, сиди! — Татьяна Власьевна кладет на плечо девушки узкую красивую ладонь, заглядывает в лицо, переводит взгляд на Кольку. — Горюете, что до свадьбы не зажило? Ничего... Успеете, наживетесь...

— Это, конечно, успеем, — Колька, весь млея, смотрит на Клаву. Так я, мол, говорю? А Клаве почему-то неудобно. Опустив глаза, она шепчет:

— Мне пора. — И, будто спохватясь, поспешно добавляет: — Я завтра приду.

* * *

Возвращаясь домой, Клава около чайной встретила Эркелей.

— Клава! Клавд Василивна! — закричала та из кузова только что лихо подкатившей к чайной машины. Клава приостановилась, стараясь понять, кто и откуда ее зовет, а Эркелей с сумкой в руке, ловко перемахнув борт, догнала ее и затараторила, словно повела пулеметный огонь.

Клава, занятая своими мыслями, с трудом понимала подругу. Оказывается, Эркелей вернулась с первого отделения совхоза. Доярки сказали, что в тамошнем магазине хорошие шерстяные кофты. Вот и ездила. Последнюю ухватила.

— Посмотришь?

Клава не успела еще ничего ответить, как Эркелей, подхватив ее под руку, подвела к лавочке у ворот.

— Садись.

И сама села рядом, открывая сумку.

— Вот, гляди! — Эркелей подняла оранжевую мохнатую кофту за плечи, приложила себе к груди. — Идет?

— Да ничего, будто... Яркая, по моде...

Эркелей, не замечая равнодушия Клавы к ее покупке, довольно улыбалась.

— Вот надену на твою свадьбу, пусть все глаза пялят. Да, чуть не забыла! Выхожу это я из магазина, а он идет.

— Кто — он?

— Игорь! Кто же еще? Руку подал, а сам какой-то сумный, будто на нем пахали. Как вы, говорит, там живете? Давно не был в Шабавино. А я ему: «Ничего... Вот свадьбу сыграем, как жених поправится»...

Клава вскочила с лавки.

— Ты что? — удивилась Эркелей.

— Да так... Говорить, что ли, больше не о чем? Трясут и трясут! Надоело!.. Пошли.

Они долго шли молча. Из-за гор, где село солнце, поднимались черные нагромождения туч, расплываясь, закрывали багровое небо. Было тихо и душно.

— Знаешь, Клава, а ты его любишь!

— Кого? — Клава сердито и удивленно покосилась на Эркелей.

— Игоря, конечно... И он тебя любит. Вы дуетесь из-за гордости, а сами любите... Вот убей меня гром!

Клава плотно сжала губы, обернулась к Эркелей.

— Ты думаешь, что говоришь? Нет, ты сегодня просто не в своем уме. Честное слово! От покупки, что ли?.. Нужен очень!.. Да я его уж сколько в глаза не видела. Он вон с Нинкой, говорят, путается.

— И все равно... — упрямо стояла на своем Эркелей.

Из переулка им навстречу вышла Зина Балусева. Она несла на коромысле воду.

— Ты что никогда не заходишь? — окликнула она Клаву. — Зайди!

И Клава зашла. Зашла, пожалуй, потому, чтобы поскорее избавиться от Эркелей. Сегодня она просто невозможная! Заладила...

Зина понесла ведра в избу, а Клава присела на ступеньки крыльца. Напротив, в нескольких метрах от нее Федор, стоя на четвереньках, копался под кустами смородины. Он был в линялой майке и старых штанах с двумя, похожими на очки, заплатами на мягком месте.

— Добрый вечер! — сказала Клава.

Федор поднялся.

— А, Клавдия Васильевна! Добрый вечер!

«Спросит про свадьбу или не спросит?» — думала Клава.

Федор не спросил. Он начал многословно рассказывать об огневке — вредителе смородины и крыжовника.

— Летом этот червяк из ягод в землю уходит, в куколку превращается. А весной, в это самое время, вылетает такой бабочкой. Вот я гексахлоранчиком и посыпаю. Надо было с осени, да не удосужился. Со временем теперь хоть караул кричи, — Федор говорит о недостатке времени не с сожалением, а даже с затаенной гордостью.

Прошлый год он, после учебы на трехмесячных курсах, занял место Прокопия Поликарповича, ушедшего на пенсию. Кажется, Федор очень доволен своим новым положением. И в семье все утихло, наладилось... Только Зина, видать, сожалеет, что так опрометчиво сменяла детский сад на свиноферму. Не раз уже жаловалась Клаве, что ей трудно, устает.

Под говор Федора Клава думает о том, что, наверное, все вот так: в молодости ищут, мечутся, а когда постареют — притихнут, успокоятся, стараются обходить в мыслях и принципы и запросы души. Да нет, почему все? Не все! И годы тут решающей роли не играют. Григорий Степанович вон совсем старик, а не успокоился, повернул свою жизнь так, как захотел. И Ермилов никогда не успокоится, не пойдет на сделку с совестью. И Геннадий Васильевич тоже... А вот себя она не знает. Ведь самое трудное в жизни, говорят, познать самого себя.

После ужина мать ушла в горницу и вскоре, погасив там свет, легла спать. А Клава не спеша перемыла посуду. Сложила ее в шкафчик и присела с книгой около стола. Книга была интересной («Тугой узел» Тендрякова), но сегодня почему-то ничего не шло в голову. Клава то и дело отрывала от страницы глаза и задумывалась о своем. Вспомнила Эркелей. Ведь не молодая уже, на два года старше ее, Клавды, а все такая же взбалмошная... И что-то есть в ней такое, что привлекает и заставляет прощать любую выходку. На нее нельзя обижаться, просто невозможно... Колька теперь спит? А, возможно, не спит, тоже дума-

ет? Как она, Клава, ни старается, но никак не может представить себя женою Кольки. Вот не получается и все, в сознании не укладывается...

От стремительного наскока ветра дом испуганно крикнул, и за окном с удивлением и страхом долго лопотали молодой листвою тополя.

Клава глянула в окно и перевернула страницу. В это время где-то далеко, в горах, глухо, угрожающе зарычало. А спустя несколько минут так грохнуло, что в шкафчике жалобно звякнула посуда. Тотчас же погас свет. Клава вскочила и, как замороженная, смотрела на окно, которое время от времени ослепительно вспыхивало, и тогда Клава видела, как ошалелый ветер крутит и гоняет по двору мусор и пыль. А вокруг так било, что Клаве невольно казалось — горы и небо крошатся и глыбами низвергаются на село.

— Клава! Клава! — закричала из горницы мать, разбуженная громом. — Труба-то закрыта? Страсть какая...

— Сейчас погляжу, — Клава знала, что спички всегда лежат на пристенке печки, но долго не могла их найти. Наконец, нашла, зажгла лампу и поспешно закрыла трубу.

— Дождь-то идет? — спросила с постели мать.

Клава набросила на плечи старенькую вязаную шаль и подошла к окну. При вспышке молнии увидела крыльцо, чуть искрапленное каплями дождя.

— Капает...

— Теперь самый раз бы... И хлебам и травам...

Дождь пошел минут десять спустя. Перед этим ветер незаметно стих, и затаенную вокруг тишину нарушали лишь взрывы грома, которые, впрочем, стали реже и глуше. Дождь полил упругими и резвыми струями, и звуки его напоминали торжественную музыку. Будто завершая это сходство, барабаном глухо бил гром, уходя с каждым разом все больше в сторону.

Клава вышла в сени и приоткрыла дверь. В лицо пахнуло сырой свежестью. Всюду журчало, булькало, звенело. Вода, не успевая впитываться в землю, сливалась в мутно поблескивающие лужи, бежала к воротам.

Дышалось легко, с наслаждением.

Клава слушала дождь до тех пор, пока окончательно не продрогла. Стягивая на себе шаль, она легонько толкнула плечом дверь, но в это время громко хлопнула калитка и она отчетливо услышала, как кто-то шлепал по лужам. Вздвогнув, Клава схватилась обеими руками за дверь, готовая мгновенно захлопнуть ее и запереть. А шаги все ближе и ближе. Они задержались на секунду у окна и шлепают к крыльцу.

«Уж не пьяный ли какой забрел?» — мелькает в голове Клавы, и она все больше и больше прикрывает дверь.

Блеснула молния, и Клава увидела в узкую щель Игоря.

— Нет! — вскрикнула она.

Сердце ее дрогнуло и рванулось так, как никогда, кажется, не рвалось. И всю ее с головы до ног осыпало жаром, и она, разом обессилев, прислонилась к стене.

Игорь, отстранив дверь, встал на пороге. За его спиной вспыхивала молния, и он стоял, как в портретной раме. А Клава прижимала под шалью ладони к сердцу, стараясь хоть немного унять его. Но сердце не слушалось. Сердце билось, трепетало.

— Зачем ты? — еле слышно прошептала она.

— Клава, я не могу... Я, конечно, виноват... Я дрянной... Но я не могу...

— Уходи...

Она ясно поняла, что говорит совсем не то, что думает. Она не в силах его прогнать и не в силах его не простить. Он всегда был с ней. Всегда. Каждую минуту. Только она старалась его не замечать, обманывала себя и других... Но сердце ведь не обманешь. И сердцу не прикажешь..

— Не гони... Я не уйду. Не уйду! — крикнул Игорь с отчаянием и мольбой.

— Тише, — сказала Клава.

— Я много понял... Я все понял... Прости! — Игорь коснулся пальцами ее руки чуть ниже обнаженного локтя. Пальцы были мокрыми и настолько холодными, что Клава вздрогнула и поспешно завела его в кухню.

На Игоре все промокло до последней нитки. Курчавые волосы прядями липли ко лбу, пиджак и брюки смялись, обвисли, делая Игора до невероятности жалким.

— Боже мой! — ужаснулась Клава. — Да ты откуда?

— С отделения... Я уже вот неделю сам не свой... Как услышал... — продрогший Игорь с трудом выговаривал слова.

Клава бросила ему свою шаль, потом схватила с печки расхожий полушубок.

— Сними пиджак, укройся. Я сейчас чаю. Наверное, еще не остыл...

Приняв непослушными пальцами стакан чаю, Игорь благодарно улыбнулся и осторожно отхлебнул. А Клава смотрела на него и думала: если у нее с Игорем и будет счастье, то счастье это будет трудным.

Но иначе она не может. Нет!..

Владимир Сергеев

СТИХИ О ЛЮБВИ

ПРАВДИВАЯ СКАЗКА

Желание иметь
Быть не таким, как все,
Хотел он перед нею
Предстать во всей красе.

Забыв про осторожность,
Он устремился в путь,
Туда, где есть возможность
Экзотики хлебнуть.

Потом он, окрыленный,
Покинул край легенд,
Чтоб сказкой покоренной
Пленить ее в момент,

Чтоб счастье неземное
Любимой дать своей...
Но счастье той порою
Уже явилось к ней.

Оно, сменив отныне
Туманную мечту,
Лежит в коляске синей
С пустышкой во рту.

Оно ей всех дороже.
Его творец не знал
Лесного бездорожья,
Штормов, подводных скал.

По тундре не скитался,
Не помирал с тоски,

А просто ей признался
Открыто, по-мужски.

И оказалась сказка
Подвластнее ему,
И синяя коляска —
Свидетельство тому.

СЧАСТЛИВЫЙ СОПЕРНИК

Бывают в жизни до сих пор
Прискорбные моменты,
Когда кирку или топор
Берут интеллигенты.

Короче так: весь наш отдел
Трудился в сельских куцах,
На время отрешась от дел
Житейских и текущих.

И от зари и до зари
Ложбинками раскосыми
Ходили чудо-косари
С зазубренными косами.

А мы с шофером Толей
По коллективной воле
Служили в подчинении
У поварихи Оли.

Стремилась оба выполнять
Ее распоряжения,
Чтоб поскорей завоевать
Ее расположение.

Из нас был каждый в этот миг
Своих страстей невольник,
И, как положено, возник
Типичный треугольник:

Я—он—она. Исход в бою!
И ни одна блондинка
Не видела за жизнь свою
Такого поединка.

С утра трудился он, как вол,
Сил не щадя физических,

А я беседы с нею вел,
Касаясь тем лирических.

Лишь прогорланят петухи —
Он в кухню носит воду,
А я — читаю ей стихи,
Любуюсь на природу.

По вечерам он у дверей
Сидит угрюмой тучею,
А я ношу букеты ей —
Огромные, пахучие.

И победил, конечно, я.
И побежденный Толя,
Своей обиды не тая,
Пошел с косцами в поле.

«Не буду больше вам мешать,
Варите с ней обеды...»
И мне с тех пор пришлось вкушать
Плоды моей победы.

Верчусь, как белка в колесе:
Вода—дрова—посуда,
И пищей недовольны все,
И с Олей дело худо.

Какие уж стихи, когда
Весь день, с утра до вечера —
То в бочке кончилась вода,
То в печь подбросить нечего.

А наши пролетарии,
Лихие сенокосчики,
Стянув потуже талии,
Бранятся, как извозчики.

И солнце жарит, как назло,
Уже вторые сутки,
И на душе так тяжело...
Зато легко в желудке.

* * *

Караулит милая любовь,
Караулит вдумчиво, серьезно.
Ей на все ответы приготовь:

Почему домой приходишь поздно?
Почему уходишь слишком рано?
Почему сидишь таким сердитым?
Почему вчера явился пьяным?
Почему пришел сегодня сытым?
Почему с ней в гости не пошел?..
Бесполезны клятвы, обязательства.
Любишь? Крепко? Это хорошо.
Не скупись теперь на доказательства.
Всюду ей оказывай внимание —
И в кино, и дома, и в компании —
«Почему глядишь не на меня —
Что теперь подумает родня?»
И вопросы сложные решать,
И мечтать о будущем своем,
И смотреть, и слушать, и дышать,
И молчать—все можно. Но—вдвоем.
Не уймешь ничем такую милую —
Стережет любовь со страшной силою,
Верностью и лаской голубиною
Действовать умеет—как дубиною.

НЕДОТРОГА

Ты на нас глядела строго,
Превосходства не тая,
Ты считалась недотрогой
И для всех была ничья.

А ровесницы теряли
Самолюбие свое:
Ждали, тайны поверяли,
Письма слали — дурачье...

Брать пример с таких тебе ли?
Сохраняла ты покой,
И, признаться, мы робели
Перед гордостью такой.

Кто ж любви твоей достоин?
Догадайся-ка, изволь:
Добрый гений, храбрый воин
Или сказочный король?

Кто тебе милей и краше?..
Пронеслось немало лет,

Но среди знакомых наших
Королей, как прежде, нет.

Проплываешь не спеша ты.
Не узнать тебя нельзя.
Губы крашенные сжаты
И прищурены глаза.

И вышагивает в паре
Величавою горой
Седовласый, тучный старец
Твой сегодняшний король.

* * *

— Мне на днях подруга сообщила,
Что тебя скромнее не найдешь.
Что тебе в сто раз милей могила,
Чем зазнайство, пьянство или ложь,
Что ты зря не тратишь ни минутки,
Что к труду привык ты с детских лет,
Что ты друг внимательный и чуткий...
Это правда?
— Ну, конечно, нет...

— От кого-то я на днях слыхала.
Будто ты зазнайка и хвастун,
Все тебя не терпят как нахала.
Все тебя обходят за версту,
Ты лентяй, каких не видел свет...
Это правда?
— Ну, конечно, нет...
— Так кому же верить?
— Боже мой,
Очень просто — верь себе самой.

КОСТЕР

Палатки замерли во сне,
А этот бойкий непоседа
Нас задержал надолго с ней
Своей непрошеной беседой.

Сначала он позвал меня:
«Послушай, брось грустить, не надо.
Присядь у моего огня —
Та далеко, а эта рядом.

Тебе с ней будет хорошо,
Так не упрямясь же, смелее...»
Я осторожно подошел
И сел на камень рядом с нею.

«Теперь начни с ней разговор —
Смотри, как взор ее стал нежен...»
Она привстала и в костер
Подбросила сухих валежин.

По косогору клочья тьмы
Метались, подступить не смея.
Когда б не он, едва ли мы
В ту ночь сидели б рядом с нею.

Лишь озарились гребни гор —
Мы снова собрались в дорогу.
А неумный наш костер
Еще дымился понемногу.

— Залей, чтоб не было беды,
Сказал мне кто-то из отряда.
Я взял ведро, принес воды
И потушил его. Так надо.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

ТОСТ

Рассказ

Две девушки лет восемнадцати, старичок и я. Больше в трамвае никого нет. Впрочем, да: кондуктор. Но та не в счет. Ей ни до кого нет дела. Она оперлась локтями на истертую до лоска решетчатую электрогрелку и безучастно смотрит в окно. Я уверен, что ее несравненно больше интересуют оставшиеся два с половиной часа работы, чем тридцать минут, отделяющие нас от Нового года.

Трамвай трогается с площади. Через оттаявшее окно кондуктора видна облитая электрическим разноцветьем елка. Она так привлекательна и радостна, что мне кажется, будто в вагон вместе с елочными огнями втекает торжественный запах хвои. Кондуктор смотрит на елку и молчит. О чем? Мне не любопытно. Просто немножко обидно, что вот совсем рядом находится человек, к которому новогоднее веселье придет с большим запозданием.

А к нам: к старичку, девушкам, ко мне? Мы успеем или не успеем?

— Скажите, пожалуйста, у вас часы точно?

Видимо, девушек тоже интересует—успеем или не успеем.

— Без двадцати восьми... Даже без семи...

— Пятнадцать минут... Так... Еще пять... — подсчитывает девушка вполголоса.—Кать, дойдем за пять?

— За три дойдем.

— Говорила — скорей собирайся. А ты не торопиться...

— Говорю же — успеем.

— Лучше бы успеть... Кать, у вас в цехе митинг был, ну тогда, когда с Кубой?

— Был.

— И у нас был. Мастер подходит ко мне и говорит: «Слушай, Морозова, выступить тебе надо». Еще чего! Буду я выступать. А тебе выступать не говорили? Я отказалась. Мастер говорит: ты в коммунистической бригаде. Ну и что, что в коммунистической? А если я говорить не умею? Он говорит: вот тут в бумажке все написано. Буду я по бумажке!.. А Борька... На карусельном работает... Апельсинами, помнишь, в клубе нас угощал?

— Чернявый такой, серьезный? Брови у него еще чудно растут, как будто одна цельная?

— Ну. Услышал — я отказываюсь, и говорит: с твоей сознательностью не в коммунистической бригаде работать. А что я, несознательная? Виновата я, что ли, раз говорить не умею. А Борька сказал: я выступлю. Без никакой бумажки. И знаешь, как говорил. Я тогда чуть не заплакала. Все, кто выступал, на производство больше нажимали. Двести процентов, триста процентов. А Борька про отца, который на фронте погиб. Борьке тогда и годика не было. А потом Борька рассказывал, что воровал. Он в колонии даже был. Для малолетних. Он еще много говорил. Я даже запомнила, как он сказал: для них наши мозоли страшней всяких бомб.

— Ох, и надоела же это — война. В газетах — война, по радио — война... Тошно слушать. А что мы можем? Будет война, значит, будет, нет — значит, нет. Лежишь ты в кровати, где-нибудь за сто верст жакнуло — и нет никого.

— Неужто — за сто?

— А ты думаешь!

— А что, может быть... Потом Борька про ту войну сказал. Если бы, говорит, Гитлера так не поважали, сколько бы народу в живых осталось.

— Молодежная, — говорит кондуктор монотонно.

Моя остановка. Со скрежетом раздергиваются двери. Утопанный снег сахарно хрустит под ногами. Я шагаю по гулкой пустынной новгородной улице и думаю.

Если бы...

* * *

Маревный июльский денек. Я сижу на берегу речушки Воронки. Почему она так называется, не знаю до сих пор. На всем ее протяжении нет ни одного омута, и если бы не плотина, то в любом месте человек среднего роста перешел с берега на берег, не замочив грудь. Но меня не интересует происхождение названия: мне двенадцать лет, и я ловлю рыбу. Точнее, хочу поймать. Обожженный пробковый поплавок неподвижно лежит на воде, не распространяя даже самого завалиющего кружка. Меня начинают мучить сомнения: может, я проглядел, и рыба съела приманку? Осторожно поднимаю удилище. Поплавок отделяется от воды, и вскоре показывается обвислый червячок. Наживка цела. Я забрасываю удочку подальше и снова впиваюсь глазами в рыжеватую черточку.

Солнце стоит над головой. От реки поднимается зыбкая прозрачная дымка, и кажется, что вода сейчас закипит. Резвая стайка уклеек начинает играть с поплавком. Он качается, от него расходятся круги. Меня радует и это. Я думаю: какая-нибудь из рыбок все-таки польстится на червяка.

Позади раздвигаются кусты черемухи, и из них выходит мальчик в белой рубашке, заправленной в голубые трусики. Я не оглядываюсь: он отражается в воде. Сейчас мальчик спросит что-нибудь об улове: так

поступают все. Я небрежно отвечаю: «Ловится помаленьку»,— так обычно отвечает мой дядя.

Но мальчик ничего не спрашивает и тихо присаживается на корточках. Несколько времени мы сидим молча, наблюдая за уклейками. Наконец он вполголоса говорит:

— Уклейку ловят не так.

Меня злит и его спокойный голос, и то, что рыба в самом деле не берет. Резко оборачиваюсь:

— Я ловлю не уклек...

— А другую рыбу надо ловить утром или вечером.

— Тоже рыбак выискался!

— Не рыбак, а знаю.

Стараюсь говорить спокойно:

— Попробуй, полови сам.

— И попробую.

Мальчик подходит к кустам, встряхивает сучок. На землю падают несколько мотыльков, спрятавшихся под продолговатыми листьями от раскаленного дня. Поймав одного, он вытаскивает из воды удочку, отвязывает поплавок, снимает с крючка червя и насаживает вместо него мотылька.

Я насмешливо слежу за его действиями, уверенный в их бесплодности. Однако не успеваю крючок с новой наживкой коснуться поверхности, как зеленоватую воду пререзает несколько сверкающих лезвий, и одна из уклек серебристой пружинкой бьется на берегу. Я поражен, но не сдаюсь—просто, мол, повезло. Но это не везенье. Одна за другой еще три рыбки сверкнули в воздухе и завозились в ведерке.

С того дня и началась наша дружба. Виктор Васин, так звали мальчугана. Были у нас и еще друзья. Школьные, уличные, знакомые с малолетства и случайные. В таком возрасте друзья—не такая уж великая проблема. Да и не могли мы обойтись без друзей и соратников. Я не оговорился: соратников. Прочитав в те поры чапыгинского «Степана Разина», мы решили отправиться в Польшу и произвести там революцию. Почему остановились на Польше—не имею представления, но именно на ней. Виктора выбрали атаманом, меня—есаулом. Мы мастерили «поджиги»—самодельные пистолеты и бесконечно совещались по поводу зенитной пушки.

В наших революционных действиях нам без зенитной пушки было никак нельзя. А пушка стояла совсем рядом: во дворе военкомата. Виктор и я взяли обеспечить отряд пушкой. Однако наша «Операция Z» провалилась. Вольница не могла простить нам неудачи, обстреливала из рогаток и обещала побить. Тогда мы гордо уединились. Даже играть в футбол и заниматься боксом стали в секциях «Спартака»—спартаковский стадион находился в другом конце города.

Война началась, когда нам было по девятнадцать. Не берусь судить, как известие о ней встретили другие, но нас оно взволновало не очень. Вечером ко мне пришел Виктор и буднично спросил:

— Слышал? Как по-твоему?

— Слышал,— ответил я.— Как с финнами, скоро кончится.

И мы сели играть в шахматы.

Но все-таки не игралось. Как ни говори, а там, где-то на Западе — война. Фронт.

О том, что война будет такой, какой она была, мы не подозревали. Если бы мы знали...

Впрочем, нет, мы тоже тогда не молчали. Накануне войны мы беззаботно распевали «Если завтра война» и собирались малой кровью бить агрессора на его земле.

О повестке на медкомиссию Виктор спросил меня с энтузиазмом.

— Тебе не прислали?

— Нет.

— А мне прислали. Ленке Давыдову и Володке Сорокину тоже прислали. Они хотят в авиацию. А мне куда, как думаешь?

— Конечно, в авиацию. До Берлина самолету что! Раз — и там.

На следующий день Виктор прошел комиссию. Его признали годным в авиацию. Через три дня принесли повестку: «Вам надлежит явиться...»

Я сижу у Виктора и наблюдаю за сборами. Он хозяйственно укладывает в рюкзак провизию, упрекая мать в беспечной суете. Ксения Федоровна садится на диван рядом со мной и, сдерживая слезы, напоемывает сыну:

— Ложку, ложку не забудь положить.

— Я уже положил, мама.

Застегнув ремни, Виктор примеривает лямки — удобны ли.

— Так, все в порядке.— Потом обращается ко мне:

— Пошли на стадион, побоксируем на прощанье, а то мне теперь когда придется.

Мать смахивает слезу, но молчит.

На стадионе безлюдно. В спортивном зале, где обычно по вечерам собирались любители бокса и тяжелой атлетики, тишина. Не слышно мягких ударов перчаток и привычного тренерского: «Секунданты—аут. Тайм». Стадионный сторож дядя Миша встречает нас радушно. Зашнуровывая нам перчатки, рассказывает:

— Заберут у нас зал. Уже смотреть приходили. Мобилизованных некуда девать.

— Зачем так много призывают?— удивляется Виктор.— В нынешней войне не люди решают, а техника.

— Э, парень, не знаешь ты германца. Он на тебе вошей разведет.

— Еще чего!— усмехается Виктор.

Начинаем боксировать. За рефери дядя Миша. В середине первого раунда дверь со скрипом открывается и в зал входит молодой человек в сером костюме. Я его знаю, это Зубрицкий, тяжелоатлет. Во время перерыва он говорит:

— Пустяками вы занимаетесь.

— Почему пустяками?— спрашивает Виктор.

— Бокс—забава. Сила—вот основное.

— Вы думаете? — усмехнулся Виктор. — По-вашему выходит, что вы сильнее, чем я, и, стало быть, сможете меня нокаутировать?

— Разумеется.

— Что ж, продемонстрируйте.

— Пожалуйста.

Зубрицкий раздевается и подлезает под канаты.

— Посуди, — обращается Виктор ко мне.

— Нет уж, без судейства, — протестует Зубрицкий, — считаем, что это обыкновенная уличная драка.

Дядя Миша помогает Зубрицкому надеть перчатки.

И вот они стоят друг против друга — Виктор и Зубрицкий.

Тяжелоатлет выше почти на голову и гораздо шире в плечах. И все-таки я уверен в Викторе, потому, что если бы не война, он бы непременно стал в этом году чемпионом области. У него техника будь-будь, да и ударчики... Особенно хорош коронный: крюк справа. Я по-настоящему оценил его в полуфинальной встрече на первенство города, после того, как пролежал полминуты в нокауте.

Удар гонга звучит отрывисто и коротко отдается в тишине.

Зубрицкий бьет сразу. Его правая рука поднимается и рассекает воздух. Так рубят дрова — размашисто, сплеча. Виктор упруго шагает вправо и ударяет левым прямым в корпус. Зубрицкий не обращает внимания и снова атакует. Его кулаки мелькают над головой, как гири. Виктор уходит от ударов, изредка посылая прямые. Они не останавливают, только злят его противника. Он забывает элементарную осторожность и идет напролом. Сейчас. Сейчас. Все разрешится сейчас... Вот Виктор уныривает от очередного каскада гирь.

Я не замечаю удара, но могу ручаться, что это был крюк справа. Слышен клацающий звук — и Зубрицкий оседает на парусину ринга. Дядя Миша ухмыляется:

— Крепко!

Возвращаясь домой, Виктор возбужденно говорит о минувшем бое:

— Как ребенка, я его побил. Знаешь, жалко, что не вместе нам с тобой на фронт. В один экипаж. Дали бы мы фрицам!

В один экипаж. Это и на самом деле было бы здорово. Но я на заводе, у меня бронь, не отпускают...

Провожали его вдвоем — Ксения Федоровна и я.

Виктор вошел в военкомат, а мы сели на ступеньки. Ксения Федоровна не плакала. Она только говорила о том, как ей трудно было воспитывать сына. Он с шести лет без отца. Бедствовали здорово. Какие у машинистки заработки! Да и с продуктами — где что достанешь? Последние годы получше стало. И вот тебе — война. Витюшка и жизни-то как следует не видел. Но он вернется. Вот кончится война — и он обязательно вернется! И все будет хорошо.

Мы ждали часа четыре. Наконец Виктор вышел. Он был крайним слева в шестом ряду. Мать встала и сделала несколько шагов. Она хотела что-то крикнуть, но не смогла. Из сухих губ вырвалось шепотом:

— Витя... Витенька...

Она рыдала беззвучно, вздрагивая всем телом. По иссеченным годами щекам бежали дорожки слез.

Несколько месяцев Виктор писал каждую неделю. Потом он выехал на фронт, а я эвакуировался с заводом в тыл. Переписка оборвалась.

От Ксении Федоровны я получил всего два письма. В первом она писала: «Мне прислали похоронную. Но я знаю, что это ошибка. Что-то напутали. Он, наверное, не успел даже до фронта доехать. Нет, они обязательно напутали. Я — мать. Если бы с ним что случилось, я обязательно бы почувствовала. Он, наверное, там. Только об этом нельзя писать. Поэтому он не пишет. А они напутали. Он вернется, и все будет хорошо».

Второе пришло три месяца спустя.

«Милый Андрюшенька! Я не отвечала на твои письма. Не могла. Я долго-долго болела и мне запретили писать. Они все скрывают от меня, что Витенька жив. Я знаю — вы мне скажете все. Вы мне обязательно напишите, где Витенька, а ему скажите, что я его все время жду. У меня очень болит голова, я скоро, наверное, умру. Но все равно — я жду. Когда он вернется оттуда, вы ему скажите, что я его так ждала, так ждала. Только он совсем, совсем не жалел свою маму...»

Я ей написал, что все передам Виктору непременно. И он придет к ней, когда вернется оттуда.

Но мое письмо пришло обратно. «Адресат выбыл».

Выбыл...

* * *

Разговор девушек о Борьке и о войне напомнил мне эту историю. Я шел по ночному городу, входящему в Новый год. В год, до которого не дожил мой ровесник Виктор. Я пытался представить себе Борьку и видел его ясно. Серьезное лицо и на нем единой дугой — брови. Внезапно мне захотелось встретить этот Новый год наедине с памятью.

В квартиру, где уже пели «Бригантину», я вошел далеко за полночь. Компании я показался настолько странным, что меня даже не заставили выпить «штрафную». Зато потребовали тост к очередной рюмке.

И я сказал:

— За Борьку!

— За какого Борьку? — спросил Павел.

— За чернявого. Он очень серьезный. У него чудные брови — как будто одна цельная — и шершавые руки. Он — сирота. Отца его убили на фронте.

Славка сказал:

— Старик где-то уже встретил Новый год.

Кто-то засмеялся. Но тем не менее выпили все.

За Борьку...

МАВЗОЛЕЙ СЕРДЦА

На братских могилах
 Прогибается степь.
 На братских могилах
 Земля оседает.
 И воронки, воронки
 На каждой версте.
 И над каждой воронкой
 Береза седая...
 А березы, березы
 На тысячу верст
 Разбежались от Черного
 К Белому морю.
 Словно матери шли
 К сыновьям на погост,
 Словно в землю вросли
 От тяжелого горя.
 Им своей сединою
 Не век шелестеть.
 Их одела Вселенная
 Звездной папайой.
 Что бы было с тобою,
 Российская степь,
 Если б ямы твои
 Не распахивал пахарь?
 Если враз бы от Черных
 До Белых морей
 За каких-нибудь
 Семь или восемь столетий
 Враз пролились бы слезы
 Твоих матерей,
 У которых в сраженьях
 Потеряны дети!

Перестали бы рощи
 Листвой шелестеть,
 И земля бы прогнулась
 От тяжести горя,
 И на месте, где нынче
 Российская степь,
 Основалось бы новое
 Слезное море!
 О Россия, Россия!
 Какой ты ценой
 Отстояла у смерти
 Грядущее наше?
 Чтоб делилась с тобою
 Сибирь целиной
 И колосья склонялись
 Пред теми, кто пашет.
 Чтоб дома вырастали
 На каждом шагу,
 Трактора рокотали
 У каждой березы.
 Пусть колосья, как ратники.
 Степь стерегут,
 Да заря проливает
 Багровые слезы.
 Но от них пробуждаются
 Нервы земли,
 Облака набухают
 И плавятся льдины.
 И шумят, и шумят
 На Руси ковыли—
 Матерей-Россиянок
 Святые Седины!

ДЫХАНИЕ ВЕКА

Весна по лужам бьет капелью,
 И, ей вызванивая в такт,
 Автоматической скарпелью

Я бью: вот так, и так и так!
 Встает заря в багровых плесах
 И отражает солнца спектр.

Звенит веселый отголосок
На весь Калининский проспект!
Он мне своим чеканным тактом
Напомнил вновь далекий гул,
Ребриху, степь, колесный трактор,
Ночь и костер на берегу.
В моем краю, где знал я беды,
В деревне, дальней и глухой,
Я не могу представить деда
С его отжившею сохой.
Лишь только шумные березки,

Жильцы суровой старины,
Да трактор будят отголоски
Степной былинной стороны.
Теперь и здесь я слышу рано
Могучей техники разгул.
Гул тракторов и автокранов
Сливаются в единый гул.
Дыханье века, кранов вздохи!
Весны чеканная капель!
И вдохновенно в такт эпохе
Звенит рабочая скарпель!

СКАЗКА О КАЛИНЕ

Эту сказку, мудрую и древнюю,
Довелось от деда слышать мне:
«Проезжал, бывало, царь деревню—
И в поход готовили коней.
Выходило целое селение
О спасенье господ просить.
Совершалось крестное моление
За здоровье матушки-Руси.
Вечерами выходили с лодками.
На лесных озерах жгли костры.
Молодцы прощались с молодками,
Сабельки готовили остры.

И однажды, как гласит предание,
Как народ запомнил о царе,
Царь назначил девушке свидание—
И ее покинул... на заре...
И ушли его полки долиною,
Поднимая солнце на мечях,
Девушка стоит теперь калиною
С красными слезинками в очах.
И с тех пор всегда весенней зорькою
Загрустит калина у пруда,
Зацветет бело и станет горькою,
А потом краснеет... от стыда».

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

Я с тобою
Не по наслышке знаком.
Ты за труды
Мне являлась наградою.
Ты и сегодня
Вечерним звонком
Юность мою
Будоражишь и радуешь.
Свет твоих окон
Был всегда, как маяк.
Многим являлась ты
Спутницей верною.

Я полюбил тебя,
Школа моя!
Рабочая школа!
Школа вечерняя!
Пускай не всегда
Мне доступной была
Формула стали
И формула извести.
Я благодарен,
Что ты помогла
Жизни формулу вывести!

Первые цветы*

«Цветы на камнях» — первая книга Ивана Кудинова. Кстати, то, что она первая — чувствуешь как-то сразу, как всегда отличишь первый снег и первую зелень. «Цветы на камнях» — в большинстве своем маленькие, очень маленькие рассказы. Часть их связана в особый цикл («Лесной царь»), другие самостоятельны. И каждый рассказ — какое-то открытие автора, обобщение, которое встает за мелкими и в общем-то обычными фактами. В маленькой книжке — весь жизненный опыт автора — матроса, журналиста, просто молодого человека, нашего современника. Книгу Кудинова (как и вообще все «первые» книги) отличает особая добросовестность. Для автора равно значимо все, о чем он пишет.

Обычно говорят о литературных прародках молодых писателей. Когда читаешь «Цветы на камнях», вспоминаются рассказы Виктора Тельпугова с их вниманием к очень маленьким деталям, с доброжелательным и доверчивым отношением к жизни. Эта же особенность свойственна и книге Кудинова — в первой и во второй ее части.

Первая часть — «Лесной царь» — написана о большом алтайском художнике Григории Гуркине, жизнь которого до сих пор нигде не была описана. Архивных документов, связанных с жизнью и творчеством художника, почти нет. Есть только картины, большей частью пейзажи — виды Горного Алтая, певцом которого был Григорий Гуркин. Прежде, чем написать посвященные ему пять новелл, Кудинов не только побывал в местах, где жил и работал художник. Он изучал архивы Москвы и Ленинграда, искал и находил людей, когда-то и как-то связанных с Гуркиным.

Он изучал живопись, ее законы, язык, которым говорят художники, старался смотреть на мир глазами своего героя, открывая вслед за Гуркиным богатство красок осенней тайги, навсегда теряя удивительное цветовое сочетание, открывшееся ему в всплеске зеленой горной речки. Но «Лесной царь» имеет не только познавательное значение. Потому что каждая новелла написана не об одном Гуркине,

* Иван Кудинов. «Цветы на камнях». Алтайское книжное издательство.

но и о том, что и как видел художник. И эти увиденные им картины жизни — самостоятельные рассказы, имеющие свое идейное и художественное значение.

Вот «Украденный этюд». Гуркин нашел удивительный кусочек леса. Художник чувствует: здесь родится лучшая его картина. Скорее, скорее писать! Но писать не пришлось: раздался где-то рядом приглушенный мужской голос: «Не бойся, Кожон, здесь мы одни». Юноша и девушка, очень юные, очень красивые. И все, что окружает их — лес, горы, река, воздух — существует только для них. Художник ушел, не захотел мешать. Потом уехал. А вернувшись, пошел к своему «ненаписанному этюду». И не нашел его. Сгорел лесной уголок. В прах и пепел превратились солнечные сосны. Прахом и пеплом стала мечта художника. И вот разговор со стариком-алтайцем:

—... Когда сгорел лес — тот, что у безымянной горы?

— ...Весной горел-то лес... Девушку увезли за калым. Богатый калым..! А парень ночью поджег лес и ушел в горы. Любил он шибко девушку. Пропал парень!..

Пропали, превратились в прах и пепел две молодые жизни. И долго еще преследовал Гуркина «запах горелого леса». Это очень точная деталь — не картины пожара, а запах гари. Он душит, разъедает горло, от него слезятся глаза.

Вообще, весь цикл «Лесной царь» написан очень строго и точно, без пышных субъектив-

ных эпитетов, без всякой попытки стилизации (а соблазн велик). И потому детали, которые все же дает автор, запоминаются.

Вспомним новеллу «Белые ночи». Гуркин ждет приговора своему творчеству от великого пейзажиста Шишкина. Утром Шишкин скажет свое слово. А сейчас ночь. Но Гуркин не может уснуть. И ему кажется — этому виной белые петербургские ночи. А в голове — одна неотвязная, ненужная мысль: «Надевать завтра манжеты или нет?»

Несколько в другой манере сделаны новеллы из цикла «Цветы на камнях». Они, я бы сказала, моложе, чем «Лесной царь». Если в первой части книги Иван Кудинов видит мир широко, не задерживаясь на мелких деталях, если обобщение рождается у него свободно, не назидательно, то во второй ее части мелкие детали становятся объектом внимания. Писатель смотрит на них радостно, изумленно — и чуточку наивно.

Возьмем рассказ «Цветы на камнях», давший название всему циклу. Молодые ребята — матросы, не нюхавшие войны, — занимаются строевой подготовкой. Им предстоит подняться на вершину безымянной, ничем не интересной сопки. Устали, устроили перекур, присев на холодные серые камни. И вдруг видят: сквозь трещины, прямо, казалось бы, на камнях, растут хрупкие цветы — незабудки. В тот день узнали ребята, что здесь похоронен их ровесник, собой прикрывший товарищей

во время войны. И по-другому взглянули ребята на себя, на мичмана — сухого, придиричвого, который привел их на безымянную сопку. Состояние молодых матросов понятно, но жаль, что автор не смог быть выше своих героев, не раскрыл сути сделанного матросами открытия, а только сказал о нем. Как иногда в письмах, сообщая какую-то важную вещь, нужных слов не находят в спешке, а слова, заменяющие эти главные, нужные, несколько раз подчеркивают, так и Кудинов, не сумев выделить главное, подчеркивает какие-то слова-заменители, чтобы читатель знал: вот это самое важное, не пропусти!

«Тусски» — умер дед, мастеровивший необыкновенные тусски. Но до сих пор много таких туссков в деревне — дед обучил своему ремеслу других.

«Зеленый подснежник» — чтобы найти свое счастье, нужно дать его другим. Не всякий может среди обычных цветов увидеть волшебный, золотисто-зеленый...

И нельзя отделаться от ощущения, что все это — и про деда, и про подснежник волшебный — уже где-то было. При всей своей искренности и непосредственности автор шел по пути миллионов открывателей и увидел то, что до него видели многие. Видели именно с той же точки, под тем же углом, с тех же позиций. И это не штамп, это от неумения отделить свое восприятие от восприятия других людей. Ему кажется, что если он открыл что-то впервые, то и для других это так же важно.

Но говорят, наши недостатки — продолжение наших достоинств. И наоборот. Та же непосредственность восприятия помогает Кудинову за повседневными фактами нашей жизни видеть какие-то ее закономерности, видеть неожиданно и точно.

Рассказ «Метлахская плитка». Целый день, не разгибая спины, работали на стройке девушки-новички, укладывали легкую, красивую метлахскую плитку. Вроде бы и работа им нравилась, и трудились на совесть, а сделали — шестнадцать-то человек! — среднюю норму одноплиточницы. Тяжелая она, голубая метлахская плитка. И путь к мастерству нелегок.

Так же, как с сюжетами рассказов, обстоит дело и с языком книги. Есть точные, четкие, яркие слова и детали. Вспомним, хотя бы, как вел в гору своих матросов мичман из «Цветов на камнях», как раскачивалась перед глазами ребят его спина — словно маятник. Одно слово — и мы видим, что мичман ходил вперевалочку, «морской» походкой. Вспомним нового старпома («Новый старпом»), на котором «все, что поддается блеску, блестело». Или как переругивались матросы — «неохотно, словно по какой-то крайней необходимости» («Наряд вне очереди»). Но рядом же читаем: «крепкая, широкоплечая фигура старого друга», «радостное беспокойное чувство» («Вчерашний день»), («Старая теорема») — слова, давно открытые и затертые, за ними трудно что-то разглядеть. Иногда даже удачно

выбранные детали Кудинов не умеет расположить так, чтобы они «заиграли». Вспомним начало рассказа «Наряд вне очереди»: «... Далеко-далеко четко, словно обведенные черной тушью, выделяются на синем фоне скалистые сопки. Неподвижно, будто впаянные в воду, стоят на рейде корабли. Юркие тупоносые буксиры неутомимо бороздят залив.» Прямо упражнение из учебника русского языка! Автор отвечает на вопрос «как»: «четко», «неподвижно», «неутомимо»... Добавим еще одно: монотонно...

Или вот начало «Лесного хозяина»: «Шишкин, как сваленный бурей дуб, упал на кровать...» Дубы на кровати ни при каких обстоятельствах не пада-

ют, и фраза кажется забавной. А между тем, сравнить больного, но все еще могучего Шишкина со старым дубом, могучим и красивым — это здорово, тем более, что образ близок художнику, он часто рисовал дубы...

Но при всех недостатках кудиновской книги в ней нет ничего, сделанного холодными руками, наспех, нет небрежности и халтуры. Вся книга написана в удивительном соответствии с названием: в ней тоже на серых булыжниках беспомощных описаний, привычных слов и ситуаций вдруг ярко блеснет голубым огоньком точный образ, интересная мысль, глубокое сравнение... И веришь, что у цветов на камнях крепкие корни. Они еще расцветут.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО В. И. АНУЧИНА

Василий Иванович Анучин (1875—1943) — писатель, этнограф, большой патриот Сибири, хорошо знавший ее историю, быт ее многонационального населения. К нему обращался за материалами о восточных районах России В. И. Ленин, который «был ненасытным в отношении материалов и информации» (В. И. Анучин «Встречи и переписка с В. И. Лениным»).

Анучин мечтал об издании в Сибири литературного журнала; его идею издания сборника, в который должны были войти произведения писателей-сибиряков, поддерживал А. М. Горький.

Когда в Барнауле в 1918 году группа писателей решила издавать «Библиотеку «Сибирского рассвета», пригласили принять участие в издании В. Я. Шишкова, В. И. Анучина и других писателей.

В письме Анучина, адресованном культурно-просветительному отделу алтайских кооперативов (в ведении этого отдела было издательство «Сибирский рассвет»), изложены его взгляды на издание книг для народа, что в те годы было важной проблемой особенно вдали от культурных центров.

Письмо публикуется впервые.

12 января 1918 г. Томск.

Культурно-просветительному Отделу Алтайских Кооперативов.

Получил ваше письмо с предложением принять участие в издательстве. Очень благодарен. Готов помогать всем, чем сумею. Приветствую прекрасное начинание, в успехах не сомневаюсь. Давно было пора союзам встать на этот путь, ваш союз сделал это первым — хвала ему.

К сожалению, брошюр ваших не получил и потому лишен возможности сказать что-либо по поводу их.

Вообще-то говоря, хочется предупредить вас, чтобы вы не сделали одной большой ошибки. Дело в том, что на «народные» издания существует две точки зрения.

1. Одни исходят из соображения, что народ еще не готов к восприятию культуры, а потому культуру эту нужно давать ему не сразу, а в гомеопатических дозах. В силу этого народу нельзя давать и тех книг, которыми мы пользуемся; народу нужно специфическое «народное» издание, брошюры, листовки, дешевые и неказистые.

2. Другие, в том числе и я, находят, что это большая ошибка. Мы должны не филантропией (хотя бы и социальной) заниматься, а обязаны дать все, что сами имеем. Не может быть специфических «народных» книжек, «народного» театра. Культуру нужно давать не каплями, а полным ковшом. Да эти «народные» издания просто оскорбительны народу, как короткое платье выросшей девочке. А потому народу нужно давать не жиденькие брошюры скверной внешности, ему нужно давать книги в возможно красивом издании.

Брошюры — это обеды от нашего пиршества.

Я прекрасно знаю из опыта, что народ и не любит жиденьких брошюр, он тоже предпочитает книжку. Если же где этого нет, то наш долг приучить к книге. Кроме того, брошюры одним своим видом вызывают теперь тошноту.

Поэтому, если желаете развить в народе знания, любовь к родной литературе и эстетическое чувство — то не издавайте брошюр, а издавайте книги или, по крайней мере, книжки.

Если будете издавать авторов-сибиряков брошюрами — то вы распылите впечатление и народ не будет знать своих родных авторов.

Издавайте сибиряков (и всех) сборниками, по несколько рассказов. Такими сборниками, но сериями можно в конце концов дать и полное собрание сочинений.

У читателя получится цельное впечатление, он запомнит автора и сумеет сравнивать его с другим, лучшим или худшим. В противном случае читатель только запомнит фабулу.

У вас в руках большое оружие: пользуйтесь им в полной мере, а не наполовину.

Буду рад, если мой совет пригодится.

Считаю долгом оговориться, что мое пожелание, в настоящих условиях дороговизны, может остаться пожеланием, но к выполнению его нужно принять все меры.

Пока посылаю вам свои книжки: перепечатывайте из них что угодно и как угодно.

Меня очень интересует: кто у вас заведующий отделом (вашим), кто в составе коллегий?

Еще раз желаю всего хорошего.

В. Акучин

А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ В БАРНАУЛЕ

Весной 1918 года из Москвы в далекий Барнаул отправились три санитарных поезда, имевших правительственное задание обменять в Сибири мануфактуру на хлеб для голодающей Москвы. Начальником эшелона был назначен писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой.

Выполнив задание, Новиков-Прибой осенью того же года снова возвратился в Барнаул с группой писателей и художников, направлявшейся для культурно-просветительной работы в Сибирь.

В Барнауле Новиковым-Прибоем написаны рассказы «Певцы», «Судьба», «Две души», «Под южным небом», повесть «Море зовет».

В период колчаковщины Алексей Силыч, по свидетельству Г. М. Пушкирева и М. Л. Новиковой (жены писателя), помогал товарищам, вынужденным уйти в подполье.

По подозрению Новиков-Прибой был арестован, доставлен в штаб белогвардейцев, его допрашивали, угрожали и, продержав до вечера, отпустили, обещая «заняться» им как следует.

У писателя были знакомые и среди партизан. Интерес к партизанскому движению Сибири дал ему материал для рассказов «Вековая тяжба», «За городом», «Зуб за зуб».

После освобождения города революционный комитет поручил А. С. Новикову-Прибою осмотреть здание гимназии Буткевич (см. фото), где во время колчаковщины помещался белогвардейский штаб «гусаров смерти».

Сейчас в этом здании, на углу улиц Короленко и Красноармейской, находится институт усовершенствования учителей.

В личном архиве писателя есть страницы, написанные в Барнауле в 1919 году, среди них — запись о бесчинствах белогвардейцев, о штабе «гусаров смерти», публикуемая ниже.



БАРНАУЛ, 1919 год.

Рукопись

Это деревянное здание, в три этажа, возвышалось на центральной улице сибирского губернского города. Еще недавно, всего лишь несколько месяцев тому назад, у подъезда его бойко звенели женские голоса, рассыпая веселый смех. Это приходили гимназистки, насыщали юные души знанием и, полные молодого задора, расходились по своим квартирам. Но времена переменились. Правда, на стене третьего этажа, под карнизом осталась прежняя вывеска, гласящая, что здесь помещается такая-то женская гимназия, но зато ниже, на балконе, появилась новая надпись: «Штаб гусаров смерти». С картины, прилепленной к дверям, оскалив гнилые зубы, смотрел на улицу пустыми впадинами вместо глаз человеческий череп, покоящийся на двух скрещенных костях. Вместо прежних учителей и учениц, сюда то и дело, звеня шпорами, приходили офицеры и солдаты. Иногда приезжали всадники, вооруженные карабинами и саблями, бомбами и револьверами, в костюмах защитного цвета, в фуражках, лихо сдвинутых на затылок, с оловянными черепами на погонах и рукаве.

Получив в штабе инструкции, они куда-то мчались галопом на буйных конях, пригибаясь к седлу. От них, пугливо выкатив глаза, шарахались в сторону обыватели.

Часто в гимназию приводили под конвоем партии крестьян, замешанных в повстанческом движении, здесь их допрашивали, применяя порки и другие истязания, а потом уводили в тюрьму или же «выводили в расход». И не раз, проходя мимо этого здания, можно было услышать вопли отчаяния одних и грубые окрики других, доносившиеся из подвальных помещений.

Публикации подготовлены Л. М. Остертаг.

ВНИМАНИЕ, СТАРТ!

Представим себе, товарищи болельщики, что вы прочитали в газетах следующие сообщения: «Барнаульская конькобежка побеждает трехкратную чемпионку мира!», «Рубцовчанка — чемпионка страны!», «Алтайский штангист перекрывает результат чемпиона мира!»

Большинство из вас скажет, что это, вежливо говоря, фантазия на спортивные темы. Где уж нам!.. А между тем, подобные сенсационные заголовки соответствовали бы действительности! Капиталина Серегина не раз в нынешнем сезоне одерживала убедительные победы над трехкратной чемпионкой мира Ингой Ворониной. Начинала же свой спортивный путь молодая конькобежка на барнаульском льду.

Вероятно, многие любители легкой атлетики помнят высокую худощавую школьницу из Рубцовска. В состязаниях она была в буквальном смысле на высоте. Звали ее Галиной, фамилия — Доля. Сейчас Галина Доля — известная спортсменка страны. Она не раз одерживала убедительные победы по прыжкам в высоту в соревнованиях с сильнейшими атлетами мира. А в тот год, когда английский штангист Л. Мартин стал впервые лучшим полутяжеловесом земного шара, алтайский богатырь Иван Крылатов перекрывает его достижения...

Как видим, фантазия на спортивные темы — вещь не такая уж и плохая. Почему же многие болельщики даже и не подозревают, что у них имеются столь именитые земляки? Ларчик открывается просто. В момент завоевания славы у наших земляков не было барнаульской или рубцовской прописки. Они считались уже москвичами, алмаатинцами или «хотя бы» уфимцами.

Конечно, нет ничего плохого в том,

что люди меняют места своего жительства. Странно другое. Живет, скажем, на Алтае способный молодой спортсмен. Ходит в разряде «многообещающих» годами. Но вот попадает в умные руки столичных тренеров и... на спортивном небосклоне появляется новая звезда.

Иные скажут: а что тут плохого, радоваться надо! А я и радуюсь за своих земляков. Но обидно становится, что у себя дома юноши и девушки не могут найти дорогу к вершинам спортивного мастерства. Для этого им надо отправляться в вояж в другие города. Так поступали многие...

Да что там легкая атлетика или штанга! А взять футбол. Почти половина игроков «Кайрата» некогда выступала в командах Алтая. Защитник С. Каминский, нападающие братья Ченцовы... Подобные примеры можно продолжать без конца...

Самое, пожалуй, огорчительное, что о них нужно говорить не только в прошедшем, но и в будущем времени. В чем же дело? Я не думаю, что наш климат не для чемпионов. Спортивную погоду, как известно, делают люди. А вот тут-то у нас далеко не все в порядке.

Возьмем минувший зимний сезон. Как известно, наши лыжники и конькобежцы на зональных соревнованиях провалились с треском. И если гонщики еще могут кое-что свалить на случайность, то скороходам кивать не на кого. Последнее место в зоне — закономерность.

Мне возразят: а выполнение Галиной Вербицкой нормы мастера спорта СССР? Это же настоящая сенсация! Согласен. Девушка действительно, можно сказать, совершила спортивный подвиг. Но чего он ей стоил! Вербицкой пришлось преодолеть такие препоны, что только диву

даешься. Я уже не говорю о том, что у нее, по существу, не было тренера. Спасибо друзьям — они помогли. Чемпионка Алтая, член сборной команды края, она зачастую не могла провести намеченную тренировку. То лед не готов, то стадион закрыт. Девушке не раз приходилось совершать незапланированные кроссы со стадиона «Алтайтрансстрой» на «Динамо» и, купив билет, выходить на лед... Да, Вербицкая смогла преодолеть все трудности. Но ведь не у каждого такой характер.

После состязаний в Иркутске она возвращалась домой радостной и огорченной. Радовалась за себя, переживала за товарищей. Как надо было поддержать их в то время! Но доброго слова конькобежцы не услышали. Зато уже в Новосибирске руководители команды потребовали, чтобы спортсмены сдали форму... Дескать, живут в разных городах. Мало ли что может произойти.

Оправдывая отставания спортсменов Алтая, зачастую приводят такой «неопровержимый» аргумент: дескать, у нас слаба база. Конечно, стадионов, спортивных залов и просто площадок еще недостаточно. Но ведь их с каждым годом все больше! А результаты спортсменов растут слабо. Видимо, плохо используем мы свои возможности. В самом деле, ведь стадионы, за исключением «футбольных» дней, почти всегда пусты. Редко-редко увидишь здесь небольшие стайки занимающихся спортсменов. А «новички на стадионе» предпочитают отсиживаться на трибунах. Спортивных залов мало. Но и те, что имеются, не используются и наполовину. Так, школьные залы довольно частенько закрываются на «каникулы». Кроме того, есть выход, подсказанный лучшими физкультурными организациями страны. Он состоит, прежде всего, в массовом создании простейших спортивных площадок, катков во всех доступных местах. Ведь для сооружения, скажем, волейбольной площадки во дворе не требуется капитальных вложений. А кто знает, может быть, именно здесь-то и начнет свой спортивный путь будущий Константин Рева. Энтузиасты-спортсмены могли бы на общественных началах проводить тренировочные занятия. Все это — простое, само собой разумеющееся дело. А сколько от их проведения в жизнь выиграл бы алтайский спорт!

Кстати сказать, давно пора подумать и о более рациональном использовании средств, отпускаемых на развитие спорта. Просто диву даешься, до чего же порой бесхозяйственно относимся мы к деньгам. Примеры? Пожалуйста!

Все мы знаем, что завод искусственного волокна — гигант химии, на развитие спорта здесь отпускаются значительные средства. Но предприятие это, как известно, молодое, новое. Своей спортивной базы не имеет. Естественным казалось бы, что отпущенные суммы пойдут на развитие наиболее массовых видов спорта. К сожалению, здесь поступили по-иному. Местные физкультурные организации решили создать свою команду по хоккею с шайбой. Очень дорогое удовольствие! Но сказано — сделано. Команду включили даже в чемпионат края. Сразу же начались поражения, нарушения дисциплины. В итоге коллектив был снят с розыгрыша. Уйма денег, таким образом, вылетела в трубу.

Хочется, чтобы меня правильно поняли. Я вовсе не против того, чтобы завод искусственного волокна имел хорошую хоккейную команду. Но, право же, надо более продуманно и хозяйственно оценивать свои возможности. Стоит ли заниматься спортивным очковитательством?

Между прочим, случай с заводом искусственного волокна отнюдь не является из ряда вон выходящим. Дело доходит до анекдотов. Так, в прошлом году один коллектив требовал включения своей команды в чемпионат края по футболу на том основании, что у них есть первозразрядники по... хоккею. И что бы вы думали? Команду включили в розыгрыш!

А сколько тратится на организацию «лишних» состязаний, поездки совершенно неподготовленных, с позволения сказать, спортсменов!

Нет, далеко не все в порядке в нашем спортивном хозяйстве. А порядок навести нужно. И чем быстрее, тем лучше!

Мало в нашем крае и тренерских кадров. И все-таки в этой области тоже нет никаких оснований для паники. Все больше и больше появляется у нас квалифицированных специалистов. В краевом центре, например, только при институтах имеется четыре кафедры

физкультуры и на каждой — немало способных, хорошо знающих свое дело людей. Жаль только, что пока кафедры вузов не нашли между собой, что называется, общего языка. В их отношениях еще мало творческого содружества. А вот склок хоть отбавляй.

Я уже не говорю о том, что немало энтузиастов спорта плодотворно трудятся в школах и техникумах. Вероятно для многих были неожиданностью успехи юных слаломистов Горного Алтая. Так, Валерий Ким — чемпион спартакиады профсоюзов и третий призер первенства Страны среди юношей. Отлично выступала в прошедшем сезоне и Валентина Черепанова. Валерий и Валентина — воспитанники местной школы спортивной молодежи.

Много и плодотворно работают учителя физкультуры в школе № 12 г. Горно-Алтайска, Павловской средней школы и многих других учебных заведений. Наш крайспортсовет награждает Почетными грамотами преподавателя физвоспитания Усть-Калманской средней школы А. Н. Плотникова и директора Смоленской школы О. М. Иванова.

Я не случайно не назвал в числе лучших барнаульцев. Здесь юношеский спорт значительно отстает, даже если о нем судить по краевым масштабам. Почему? Это особая статья. Мне хотелось бы подчеркнуть, что условия для его развития в краевом центре, конечно, неизмеримо лучше, чем в других городах Алтая. И тренеров в Барнауле больше, и база шире.

Но не всегда количество переходит в качество...

Несколько месяцев назад были подведены итоги соревнования городов Алтая

по развитию физкультуры и спорта. Что же они показали?

В крае за прошлый год было подготовлено 16 мастеров спорта, более 26 тысяч разрядников. Однако с поставленной задачей по выполнению плана развития физической культуры и спорта мы не справились. Ни одно общество не смогло выполнить необходимых условий для получения переходящего красного знамени крайспортсовета. Особенно плохо обстоит дело в Славгороде, Новоалтайске, обществах «Локомотив», «Спартак», «Урожай».

Весьма показательно, что лучших результатов добились опять-таки не барнаульцы, а бийчане. Еще одно доказательство значения инициативы и энтузиазма!

Итак, факты показывают, что при имеющихся условиях наши спортсмены могут вполне войти в число «сильнейших Сибири». Молодых талантов у нас хоть отбавляй. А вот «зеленая улица» создается для них далеко не всегда.

В спорте все начинается со старта. С первым стартом в когорту сильных, ловких, смелых приходит новое поколение. И очень обидно, что, стартуя в Барнауле, молодой, многообещающий спортсмен, образно говоря, старается финишировать в другом городе. В наших силах сделать так, чтобы и у нас вырастали чемпионы.

Наступили летние дни. Но для футболистов, легкоатлетов и многих других спортсменов это вовсе не «время летних отпусков». Сезон обещает быть очень напряженным и интересным. Пусть же он откроет новые спортивные таланты.

Счастливых вам стартов, дорогие товарищи!

БАСНИ



Осел ученый присмотрелся к мухе —
Есть крылья, хоботок...

Вот так дела!

Осел сказал: — Мой ум тому порукой,
Сумеешь ты трудиться, как пчела.

А если поучить тебя с полгода,
Так от тебя

Не оберешься мёда.

Вот книга вышла у Осла
Под заголовком
«Муха и Пчела».
На пасеке теперь на улье лучшим
Есть надпись строгая: «Научный».
И в улье том из воска соты,
И день и ночь идет работа —
Летают мухи там и тут,
Жужжат,
Роятся,
Соты жрут.
Осел поводит длинным ухом
И пишет новый труд:
«Пчела и Муха».
Идет работа полным ходом
И не хватает только... мёда.

Цветок и молния

Блеск молнии все осветил,
Гроза над степью прогремела,
И, дождевой воды попив,
Трава ковром зазеленела.
И тут промокший Светлячок,
Согнувшись под Цветком в крючок,
Сказал:

— Хвалиться не хочу.

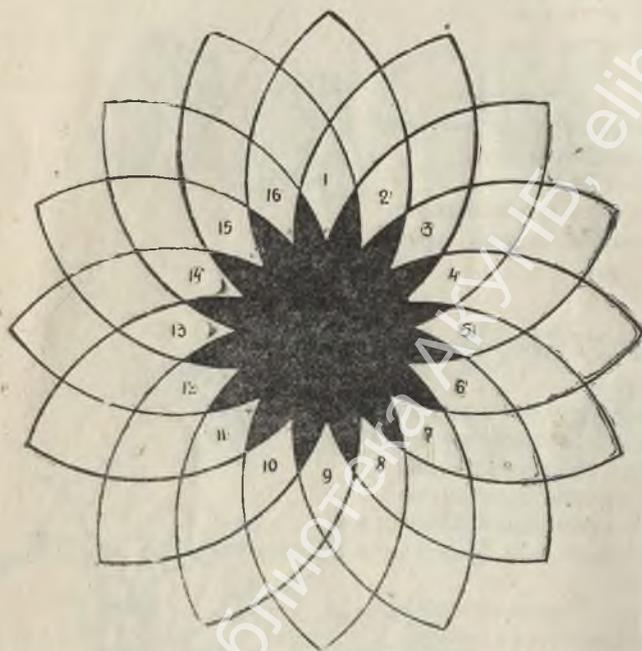
Но, молнии не подражая,
Для вас всю жизнь я свечу
И никому не угрожаю.
Цветок спросил его в ответ:
— Кому же пользу дал твой свет?
Что светишь ты — не в этом суть,
Живешь ты долго, знаю я,
А я бы раз хотел блеснуть,
Но только так,
как молния!

В ЧАСЫ
ДОСУГА

КРОССВОРД

„ТРИ БУКВЫ“

Все слова кроссворда состоят из трех букв. Начинаются они в клетках с цифрами, причем в каждой такой клетке начинаются два слова: одно читается по часовой стрелке, другое — против.



По часовой стрелке:
1. Название реки, протекающей по Алтайскому краю. 2. Основная производительная ячейка первобытно-общинного строя. 3. Болезнь щитовидной железы человека. 4. Английский мореплаватель XVIII века, открывший Гавайские острова в Тихом океане. 5. Домашнее животное. 6. Рыба семейства сомовых, отряда карпообразных. 7. Участок земли, покрытый травянистой растительностью. 8. Повар на речном или морском судне. 9. Замерзшая вода. 10. Инструмент для бурения скважин. 11. Участок земли, за-

саженный фруктовыми деревьями. 12. Мягкие и нежные волосы под перьями птиц, шерстью животных. 13. Левый приток реки Амур. 14. Тонкозернистый, мягкий белый известняк. 15. Музыкальный или сигнальный инструмент в виде изогнутой трубы с расширяющимся концом. 16. Сокращенное название крупного торгового предприятия в Москве.

Против часовой стрелки:

1. Река, являющаяся своей частью границей между СССР и Польшей. 2. Столица европейского государства. 3. Женское имя. 4. Система условных обозначений. 5. Геометрическая фигура. 6. Левый приток реки Волги в Оренбургской и Куйбышевской областях. 7. Прибор для измерения водных глубин. 8. Шуточное обращение к пожилому мужчине. 9. Широкий и длинный овраг. 10. Титул мелких феодальных правителей и должностных лиц в странах Ближнего и Среднего Востока. 11. Государственный орган, ведающий разрешением гражданских споров и рассмотрением уголовных дел. 12. Газообразное состояние воды. 13. Неприятное ощущение вследствие заболевания кожного покрова тела. 14. Обработанная шкурка пушного зверя. 15. Спутник планеты Сатурн. 16. Футбольный термин.

Составил З. Равинович.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru